

Редъярд Киплинг

Свет погас



Редъярд Киплинг

Свет погас

«Public Domain»

1891

Киплинг Р. Д.

Свет погас / Р. Д. Киплинг — «Public Domain», 1891

«...Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью, маленькое длинноволосое сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшем в дальнем конце сада. Мистрис Дженнет хотела изгнать козу из сада, потому что она нехристь, что, конечно, было неоспоримо верно, но маленький атом энергично запротестовал...»

© Киплинг Р. Д., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

I	6
II	12
III	18
IV	25
V	32
VI	39
VII	49
VIII	61
IX	73
X	82
XI	88
XII	95
XIII	100
XIV	111
XV	127

Редьярд Киплинг

Свет погас

* * *

I

– Ну, как ты думаешь, что она сделает, если поймает нас? Нам не следовало бы делать этого, Дик, – сказала Мэзи.

– Меня побьет, а тебя запрет в спальне, – не задумываясь, ответил Дик. – Патроны у тебя?

– Да, они у меня в кармане, и страшно трясутся; они не могут сами собой взорваться?

– Не знаю. Если ты боишься, возьми револьвер, а патроны дай мне.

– Я вовсе не боюсь. – И Мэзи быстро побежала вперед, засунув руку в карман и откинув голову назад. Дик следовал за ней с маленьким, дешевеньким револьвером в руке.

Эти дети решили, что жизнь их будет невыносима, если они не научатся стрелять из пистолета, и вот, после долгих размышлений и всяких лишений, Дик скопил семь шиллингов и шесть пенсов на покупку плохонького бельгийского револьвера. Мэзи, со своей стороны, внесла в синдикат полкроны на приобретение сотни патронов.

– Ты лучше меня можешь копить деньги, Дик, – пояснила она, – я люблю всякие лакомства, а ты к ним равнодушен; а кроме того, такие вещи всегда должны делать мальчики.

Дик поверчал слегка, но тем не менее пошел и купил что нужно, и теперь они собирались испробовать свою покупку. Стрельба из револьвера не входила, конечно, в программу их повседневных занятий, выработанную для них их опекуной, которая, как ошибочно предполагали люди, заменяла мать этим двум сиротам. Дик уже шесть лет находился на ее попечении, и за это время она удерживала в свою пользу те деньги, которые якобы расходовались ею на его платье и содержание, и, отчасти по беззаботности, а частью по прирожденной склонности причинять огорчение, эта немолодая вдова, страстно желавшая выйти замуж, изрядно отравляла ему жизнь. Там, где он искал ласки и любви, он находил сперва отвращение, а затем ненависть, а когда он подрос, и душа его запросила сочувствия, то встретила вместо него насмешки и обиды. Те часы досуга, что оставались у нее от хозяйственных забот и хлопот по дому, она посвящала тому, что она называла домашним воспитанием Дика Гельдара. Религия, которую она истолковывала применительно к своим личным соображениям, немало помогала ей в этом деле. Когда она лично не имела основания быть недовольной Диком, она давала ему понять, что его жестоко накажет Творец, и вследствие этого Дик возненавидел Бога, так же как ненавидел мистрис Дженнет, а это весьма нежелательное состояние духа для ребенка. Так как она упорно хотела видеть в нем неисправимого лгуна после того, как он, побуждаемый страхом побоев и наказаний, впервые прибегнул к неправде, то мальчик невольно и превратился в лгуна, но в лгуна осмотрительного и бережливого, никогда не прибегавшего без надобности даже к самой пустячной лжи, но, с другой стороны, не задумывавшегося ни на минуту даже перед самой ужасной ложью, будь она хоть сколько-нибудь правдоподобна и вероятна, если ложь могла облегчить хоть немного его жизнь. Такое воспитание научило Дика жить обособленной, замкнутой жизнью, что ему весьма пригodiлось, когда он стал ходить в школу, где мальчики смеялись над его одеждой, сделанной из плохонькой материи и во многих местах подштопанной. По праздникам он возвращался к мистрис Дженнет, и не проходило полсуток со времени его возвращения под ее кров, как он уже был бит, по той или иной причине, для того чтобы дисциплина домашнего воспитания не ослаблялась под влиянием общения с внешним миром.

Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью, маленькое длинноволосое сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшем в дальнем конце сада. Мистрис Дженнет хотела изгнать козу из сада, потому что она нехристь, что, конечно, было неоспоримо верно, но маленький атом энергично запротестовал.

– В таком случае, – сказал маленький атом, взвешивая каждое свое слово, – я напишу моим опекунам, что вы очень скверная женщина. Амомма моя, моя и моя!

Мистрис Дженнет направилась было в прихожую, где стояли в углу зонтики, трости и палки, и маленький атом сообразил так же быстро, как Дик, что означало это движение.

– Я была бита и раньше, – сказал атом все тем же спокойным и бесстрастным голосом. – Я была бита сильнее, чем вы можете побить меня, но если вы ударите меня, то я напишу моим опекунам, что вы не дадите мне есть! Я вас ничуть не боюсь.

М-с Дженнет не пошла в переднюю, и атом, выждав немного, чтобы убедиться, что всякая опасность миновала, вышел в сад, чтобы выплакать свое горе на шее у Амоммы.

Вскоре Дик узнал, что ее зовут Мэзи, и первое время относился к ней с большим недоверием, опасаясь, чтобы она не помешала той небольшой свободе действий, которая была предоставлена ему. Однако опасения его не оправдались, и атом не напрашивался к нему в друзья до тех пор, пока он сам не сделал первого шага к сближению. Еще задолго до окончания каникул длинный ряд наказаний, понесенных совместно, сблизил детей; вместе придумывая разные увертки, чтобы обмануть м-с Дженнет, они невольно действовали заодно и выгораживали друг друга. И когда Дик уезжал в свое училище, Мэзи, прощаясь, шепнула ему:

– Теперь я останусь одна, и некому будет постоять за меня, но, – и она гордо вскинула головку, – я и сама сумею, – добавила она. – Ты обещал прислать Амомме ошейник, пришли же скорее!

Спустя неделю она опять спросила про ошейник и осталась весьма недовольна, узнав, что его не так-то скоро можно изготовить. А когда Дик, наконец, прислал обещанный подарок, то она забыла поблагодарить его за него.

С того времени много раз наступали и кончались каникулы. Дик вытянулся и превратился в тощего, долговязого подростка, более чем когда-либо болезненно сознающего всю неприглядность своего костюма. М-с Дженнет ни на минуту не ослабляла своих нежных забот о нем, но обычные наказания закрытых учебных заведений – а Дик подвергался им раза три в месяц – преисполнили его высокомерного презрения к карательным способностям г-жи Дженнет.

– Она бьет немного, – пояснял он Мэзи, которая подстрекала его к возмущению, – а к тебе она становится ласковее, после того как поколотит меня.

Дик рос внешне неопрятный и неряшливый и внутренне одинокий и озлобленный, что весьма скоро заметили его младшие товарищи, потому что он под горячую руку бил их исподтишка больно и обдуманно; не раз он пробовал дразнить и Мэзи, но девочка упорно отказывалась поддаваться его желанию сделать ей неприятность.

– Мы и так несчастны оба, – говорила она, – к чему же нам стараться еще более ухудшить нашу жизнь? Лучше давай придумаем, чем бы нам заняться, чем развлечь себя.

И результатом таких размышлений явился револьвер. Стрелять из него можно было только на самой болотистой отмели, далеко от пристани и купален, у подножья зеленых холмов форта Киплинг. В этом месте прилив покрывал песок без малого на две мили, и разноцветные кучи ила, прогретые солнцем, издавали неприятный тяжелый запах гниющих водорослей. Было уже поздно, когда Дик и Мэзи пришли на отмель, а за ними не торопясь трусила Амомма.

– Фи! – воскликнула Мэзи, втянув воздух, – удивляюсь, отчего это море издает такой запах. Мне он ужасно противен!

– Тебе противно все, что не специально для тебя создано, – проворчал Дик. – Дай мне патроны, я попробую выстрелить первый. Интересно знать, далеко ли бьют эти маленькие револьверы.

– О, на полмили, вероятно! – живо ответила Мэзи. – Во всяком случае, треск от них ужасный. Будь осторожен с патронами; мне положительно не нравятся эти штучки по краям барабана... Смотри, Дик, будь осторожен!

– Ладно, я знаю, как заряжать. Я буду стрелять туда, в буруны.

Он выстрелил, и Амомма с жалобным блеяньем убежала прочь. Пуля взметнула фонтан грязи вправо от старой, обвитой водорослями сваи.

– Бьет слишком высоко и вбок. Теперь попробуй ты, Мэзи. Помни, что он заряжен.

Мэзи взяла револьвер, осторожно приблизилась к самому краю тины и ила, держа палец на спуске и слегка скривив рот и прищурился левый глаз, стала целиться. Дик, присев на бережку, посмеивался, глядя на нее. Амомма осторожно приближалась; она привыкла ко всякого рода неожиданностям во время этих вечерних прогулок и, видя, что коробка с патронами осталась открытой, стала обнюхивать ее. Мэзи выстрелила, но не видела, куда попала пуля.

– Мне кажется, что я попала в сваю, – сказала она, заслоняя рукой глаза и вглядываясь в даль безбрежного моря.

– Я знаю, что она попала в колокол на Маризонском балконе, – хихикнув, сказал Дик. – Стреляй ниже и левее, тогда, может быть, попадешь. Ах, смотри, Амомма ест патроны!

Мэзи обернулась с револьвером в руке как раз вовремя, чтобы увидеть Амомму удирающей от камней, которыми в нее швырял Дик. Нет ничего святого для избалованной козы! Хорошо упитанная и боготворимая своей госпожой, Амомма из озорства проглотила два патрона, но Мэзи это казалось невероятным, и она поспешила удостовериться, что Дик сказал правду.

– Да, она действительно проглотила две штуки. Противное создание! Теперь эти патроны будут болтаться у нее в животе и чего доброго взорвутся, и поделом ей!.. О, Дик! Неужели я тебя убила?

Револьвер далеко не безопасная вещь в руках молодежи; Мэзи не могла себе объяснить, как это случилось, но вдруг густое облако дыма заволокло Дика, и ей казалось, что револьвер разрядился прямо ему в лицо. Но вот она услышала его бормотанье и кинулась на колени подле него, восклицая:

– Дик, ты не ранен? Нет? Я не хотела этого.

– Ну, конечно, ты не хотела, – сказал Дик насмешливо, появляясь из облака и обтирая себе щеку. – Но ты чуть не ослепила меня. Этот порох страшно жжется.

Хорошенькое, маленькое, серое пятнышко расплющенного свинца на камне указывало, куда именно попала пуля. Мэзи захныкала.

– Перестань! – остановил ее Дик, вскочив на ноги и отряхиваясь. – Я ни чуточки не ранен.

– Да, но я могла убить тебя! – возразила Мэзи, причем углы рта ее опустились книзу и дрожали. – Что бы я тогда стала делать?

– Ты пошла бы домой и рассказала обо всем мистрис Дженнет, – усмехаясь ответил Дик, мысленно представляя эту картину. – Но прошу тебя, не сокрушайся об этом, – добавил он более мягко. – Мы только даром тратим время, а ведь мы должны вернуться к чаю. Дай-ка мне на минутку револьвер.

Мэзи еще долго бы прохныкала при малейшем поощрении, но равнодушие Дика, рука которого, однако, сильно дрожала, когда он брал револьвер, успокоило ее. Она все еще продолжала всхлипывать, лежа на песке, а Дик методично расстреливал буруны над сваями.

– Попал, наконец! – воскликнул он в тот момент, когда небольшой клочок водорослей отлетел от старой сваи.

– Дай мне пострелять, – повелительно сказала Мэзи, – я теперь совсем успокоилась.

И они принялись стрелять по очереди до тех пор, пока плохонький револьвер чуть не рассыпался на части, а изгнанная Амомма, которая могла ежеминутно взорваться, пощипывая травку на почтительном расстоянии, дивилась и не понимала, почему в нее все время бросали камнями, не позволяя ей подойти ближе. Потом они нашли банку, плававшую на поверхности небольшого озера или лужи, и уселись перед этой новой мишенью.

– В следующие каникулы, – сказал Дик, – мы приобретем другой револьвер, центрального боя, – те бьют гораздо дальше.

– В следующие каникулы меня уже не будет здесь, – ответила Мэзи. – Я скоро уеду отсюда.

– Куда?

– Не знаю. Мои опекуны писали мистрис Дженнет, что я должна воспитываться где-то, может быть, во Франции, – точно не знаю, но я буду рада уехать отсюда.

– Ну а мне это совсем не нравится. Меня, я полагаю, оставят здесь. Послушай, Мэзи, неужели это действительно правда, что ты уедешь, и эти каникулы я вижу тебя в последний раз? А на будущей неделе я должен вернуться в школу! Я хотел бы...

Кровь прилила к его лицу, а Мэзи срывала травинки и бросала их в желтую водяную кувшинку, покачивающуюся на воде тинистого озера.

– Я хотела бы, – сказала она после непродолжительного молчания, – опять когда-нибудь увидеть тебя. Ведь и ты этого хотел бы?

– Да, но было бы лучше, если бы... если бы ты застрелила меня там, у свай...

Мэзи с минуту смотрела на него широко раскрытыми глазами. Неужели это тот самый мальчик, который десять дней тому назад украсил рога Амоммы бумажными фигурами и папи-лотками и выгнал ее в таком виде на улицу на посмешище публике? И она опустила глазки: нет, это не тот мальчик.

– Не говори глупостей, – наставительно сказала она и с чисто женским инстинктом свернула в сторону. – Видишь, какой ты эгоист! Ты подумай только, что бы было со мной, если бы эта проклятая безделушка убила тебя! Я и так уж достаточно несчастна!

– Почему? Потому, что ты уезжаешь от мистрис Дженнет?

– Нет.

– Ну, так от меня?

Долго не было ответа. Дик не смел взглянуть на нее. Он теперь живо чувствовал, чем для него были эти четыре года, и чувствовал это тем острее, что не умел и не мог выразить своих чувств словами.

– Не знаю, – протянула она, – но я полагаю, что так.

– Мэзи, ты должна знать! Я не предполагаю, я знаю!

– Пойдем домой, – слабым голосом промолвила Мэзи, поворачиваясь, чтобы идти.

Но Дик не согласен был отступить.

– Я никогда не умею сказать, что надо, – сказал он, – и мне ужасно жаль, что я дразнил тебя тогда с Амоммой. Но теперь совсем не то, ты меня понимаешь, Мэзи? И ты могла бы сказать мне, что ты уезжаешь, а не дожидаться, пока я сам узнаю об этом.

– Да ведь ты же и не узнал; я сама сказала тебе, но, Дик, что толку горевать?

– Пользы, конечно, никакой, но ведь мы с тобой жили годы вместе, и я не подозревал, что ты мне так дорога, я не знал этого.

– Я не верю, чтобы когда-нибудь была дорога тебе! – сказала она.

– Раньше ты и не была мне дорога, но теперь! Ты мне страшно дорога, Мэзи, – пробормотал он едва внятно. – Мэзи, милочка, скажи, что и ты любишь меня, скажи, прошу тебя!

– Да, да... право же, я люблю тебя; но что пользы в том?

– Как?

– Да ведь я уезжаю.

– Но если ты, прежде чем уехать, обещаешь мне... ты только скажи, хочешь ты? – Второй раз слово «милочка» уже легче соскочило у него с языка, чем в первый раз; хороших слов в домашнем и школьном словаре Дика было очень немного, но он инстинктивно находил их: точно так же инстинктивно поймал он маленькую, почерневшую от пороха ручку и удержал в своей.

– Я обещаю, – торжественно произнесла Мэзи, – но раз я люблю, то какая надобность обещать?

– Так ты любишь? – И впервые за последние несколько минут глаза их встретились и яснее всяких слов сказали то, что они не могли и не умели передать словами.

– О, Дик, не нужно этого! Прошу тебя! Это хорошо, когда мы здоровались поутру; но теперь это совсем другое!

Амомма смотрела на них издали в недоумении; она часто бывала свидетельницей ссор, но никогда не видела, чтобы ее госпожа обменивалась поцелуями со своим юным товарищем. Но желтая кувшинка на болоте была умней козы и одобрительно кивала своей золотой головкой. Как поцелуй, это был даже не настоящий поцелуй, но тем не менее это был первый, не похожий на те, какие даются по обязанности, и он открыл им новые миры. . . один прекраснее и лучезарнее другого, так что и чувства их, и думы, и воображение унеслись в неведомые, заоблачные страны, превыше всяких житейских забот и треволнений, особенно забот о вечернем чае, – и потому они сидели тихо друг подле друга, держась за руки и не говоря ни слова.

– Теперь ты уже не можешь позабыть, – сказал наконец Дик. – И что-то жгло теперь его щеку гораздо сильнее, чем пороховой ожог.

– Я и так ничего не забыла бы, – сказала Мэзи, – пойдем домой.

– Давай расстреляем сперва оставшиеся патроны, – возразил Дик и помог Мэзи спуститься с откоса зеленого вала форта к морю, хотя Мэзи свободно могла сбежать с него одна. Мэзи с не меньшей серьезностью взяла его руку. Дик неуклюже склонился над ее ручкой; она отдернула, а Дик густо покраснел.

– У тебя такая хорошенькая ручка, – сказал он.

– О-о! – протянула Мэзи, усмехаясь самодовольной улыбкой, в которой отразилось польщенное тщеславие женщины.

Она стояла подле Дика совсем близко, когда он в последний раз зарядил револьвер и выстрелил в море, со смутным сознанием, что он защищает Мэзи от всех бед в мире.

Небольшая лужа вдали на илистой отмели отразила на мгновение последние лучи заходящего солнца, превратившегося в багровый диск, привлечший внимание Дика в тот момент, когда он взводил свой револьвер, и им снова овладело чувство чего-то чудесного и необычайного. Вот он стоит здесь рядом с Мэзи, которая обещала помнить его всегда, всегда, до того дня, когда. . . Вдруг порыв ветра разметал ее длинные черные волосы, бросив их прямо ему на лицо, так как она стояла рядом, позади него, положив руку ему на плечо и ласково подзывала к себе Амомму. На мгновение у него стало темно перед глазами и что-то словно обожгло его. А пуля со свистом пронеслась куда-то в открытое море.

– Промахнулся, – сказал он, покачав головой. – Больше патронов нет. Надо будет бежать домой.

Но они не побежали, а пошли очень медленно рука об руку и вовсе не беспокоились о том, бежит ли за ними позабытая ими Амомма, или проглоченные ею патроны разорвали ее на части. Они обрели нежданное сокровище и теперь наслаждались им со всей мудростью, присущей их возрасту.

– Я буду со временем. . . – начал уверенно Дик, но вдруг осекся. – Не знаю, кем я буду. Сдать экзамены я, кажется, не способен, но я умею рисовать отличные карикатуры на учителей, вот что!..

– Так будь художником! – сказала Мэзи. – Ты всегда смеешься над моими попытками нарисовать что-нибудь, это будет тебе полезно.

– Я никогда больше не стану смеяться ни над чем, что ты делаешь, – отозвался он. – Я стану художником и покажу себя!

– Художники, кажется, всегда нуждаются в деньгах, не правда ли?

– У меня есть сто двадцать фунтов годового дохода, которые я буду получать, как говорят мои опекуны, когда я буду совершеннолетним. Для начала этого будет достаточно.

– Вот как, ну а я богата. У меня будет триста фунтов годового дохода, когда мне исполнится двадцать один год. Вот почему мистрис Дженнет добрее ко мне, чем к тебе. Но я все-таки желала бы, чтобы у меня был кто-нибудь близкий, отец, или мать, или брат.

– Ты моя и будешь всегда моей! – сказал Дик.

– Да, я твоя навеки, а ты мой... это так хорошо! – и она сжала его руку.

Благодатная темнота скрывала их друг от друга, и, едва различая только один профиль Мэзи, Дик наконец собрался с духом и до того осмелел, что, дойдя до двери дома, выговорил те слова, которые уже целых два часа просились у него на язык.

– Я люблю тебя, Мэзи! – прошептал он, и ему показалось, что эти слова прозвучали на весь мир, который он не сегодня завтра собирался покорить.

Когда они вернулись, м-с Дженнет набросилась на Дика, во-первых, за непозволительную непунктуальность, а во-вторых, за то, что он чуть не застрелил себя запрещенным оружием.

– Я играл им, и он нечаянно выстрелил, – сказал Дик, убедившись, что ожога на щеке не скрыть, – но если вы думаете, что я позволю вам побить меня за это, то вы очень ошибаетесь. Вы никогда больше пальцем меня не тронете! Сядьте на свое место и налейте мне чай. Уж этого-то вы никак не можете отнять у нас.

М-с Дженнет чуть не задохнулась и даже посинела. Мэзи не сказала ни слова, не ободряла Дика взглядом, и весь этот вечер Дик вел себя непозволительно дерзко. М-с Дженнет предрекала ему, что Бог немедленно покарает его и что впоследствии ему грозит геенна огненная, но Дик чувствовал себя на седьмом небе и ничего не хотел слышать. Только когда он уже шел ложиться спать, м-с Дженнет несколько пришла в себя и вернула себе свое обычное самообладание. Дик пожелал Мэзи спокойной ночи, не глядя на нее и не подходя к ней, и это не укрылось от м-с Дженнет.

– Если ты не джентльмен, то мог бы постараться хоть внешне походить на джентльмена, – ядовито заметила она. – Ты опять поссорился с Мэзи?

Она сделала этот вывод из того, что они не обменялись обычным поцелуем, желая друг другу спокойной ночи. Мэзи, бледная, как воск, с притворным равнодушием подставила ему свою щеку. Дик едва прикоснулся к ней губами и вышел из комнаты красный как рак. В эту ночь ему снился дикий сон. Он покорил весь мир и положил его к ногам Мэзи в ящике от патронов, а она опрокинула ящик ногой и, вместо того чтобы сказать «спасибо», крикнула: «Где ошейник, который ты обещал подарить Амомме? О, какой ты эгоист!»

II

– Я не сержусь на английскую публику, но очень хотел бы видеть несколько тысяч англичан здесь, среди этих скал. Не стали бы они так жадно набрасываться на свои утренние газеты. Можете вы себе представить всю эту почтенную компанию – «Друг справедливости», «Постоянный читатель», «Отец семейства» и другие печатные листы, разбросанные на этом раскаленном песке?

– С голубой вуалью на шляпе и в изодранных брюках... Нет ли у кого-нибудь иголки? Я добыл клочок мешочного холста.

– Я вам одолжу, пожалуй, рогожную иглу, которой зашивают тюки, если вы мне дадите шесть квадратных дюймов холста. У меня продырявились оба колена.

– Уж отчего бы не шесть акров? Не все ли равно сколько просить! Ну, давайте сюда иголку, а я посмотрю, что с этим можно сделать. Но едва ли этого материала хватит, чтобы прикрыть мое грешное тело от стужи и холодного ветра.

– Что вы там опять возитесь с вашим неразлучным альбомом?

– Рисую «нашего специального корреспондента», штопающего свои брюки, – серьезно отозвался Дик, в то время как его товарищ, разложив на коленях эту необходимую принадлежность мужского туалета, прилаживал к ней заплату в том месте, где зияла особенно выразительная прореха, и сердито ворчал, отчаявшись в успехе своих усилий: – Гм... что тут поделаешь с клочком холста?! Эй ты, рулевой! Одолжи мне все паруса с твоего вельбота!

Украшенная феской голова вынырнула из-за кормы между парусов, ослабилась, сверкнув белизной зубов, и снова нырнула за борт. А человек с порванными брюками, в одной вязаной куртке и серой фланелевой рубашке продолжал трудиться над своим неумелым шитьем, в то время как Дик, посмеиваясь, заканчивал свой набросок.

Около двадцати вельботов стояло у песчаной отмели, пестревшей английскими солдатами численностью в полкорпуса, купавшимися или стиравшими свое белье. Кучи мешков, тюков, ящиков и всякого интендантского груза лежали на том месте, где пришлось спешно выгрузить один из вельботов, над которым теперь, громко ругаясь, копошился полковой плотник, стараясь далеко недостаточным количеством жести залатать изрядную дыру в дне судна.

– Сперва поломался руль, – ворчал он, повествуя о том всему миру вообще, – затем снесло мачту, а под конец, когда уж ей ничего больше не оставалось, скорлупа эта проклятая треснула и раскрыла рот, как какой-нибудь круглоголовый китайский орех!

– Как раз то же самое случилось и с моими брюками, – заметил портной, не отрывая глаз от своей работы. – Хотел бы я знать, Дик, когда я снова увижу приличный магазин?

Ответа не последовало, кроме непрерывного сердитого ропота Нила, омывавшего высокую базальтовую стену и, пенясь, стремившегося дальше между скал и камней порогов, тянувшихся на добрые полмили дальше вверх по течению. Казалось, будто тяжелые мутные воды реки хотели прогнать этих белых людей обратно на их родину. Неописуемый, своеобразный запах нильского ила свидетельствовал о том, что река обмелела и что дальше судам нелегко будет пробраться. В этом месте пустыня подступила почти к самому берегу, и среди серых, буро-красных и почти черных холмов там и сям выделялся труп дохлого верблюда. Ни один человек не осмеливался отлучиться даже на одни сутки от медленно двигавшихся вперед судов; хотя за последние несколько недель и не было никаких столкновений и перестрелок, но тем не менее все это время Нил не щадил чужеземцев. Пороги сменялись порогами, быстрины быстринами, подводные камни и рифы и мели сменяли друг друга, и группы островов тянулись одни за другими, так что, наконец, караван судов потерял всякое представление о направлении и даже о времени своего плавания. Они двигались куда-то, сами не зная зачем; им предстояло что-то сделать, но они не знали что; перед ними раскинулся Нил, а там, где-то далеко, некий

Гордон сражался не на жизнь, а на смерть в городе Хартум. Отряды английских войск двигались где-то по пустыне, другие отряды двигаются по реке и еще отряды ждут посадки на суда. Свежие войска ждут в Ассиоте и Ассуане. Разные слухи и рассказы ходили от Суакима и до Шестого водопада, и люди полагали, что есть какая-нибудь высшая власть, какое-нибудь высшее начальство, руководящее всеми этими сложными передвижениями. В обязанности того речного каравана, о котором сейчас идет речь, входило сопровождение судов по реке, щадя посева и пашни местного населения. Они могли есть и спать сколько угодно, а главное – двигаться без промедления к верховьям Нила.

Вместе с солдатами этого отряда пеклись и жарились на солнце и корреспонденты газет, знавшие ровно столько же об общем ходе дел, как и сами солдаты. Но ведь нужно же было Англии волноваться и спорить за утренним завтраком, жив или нет Гордон и не погибла ли половина славной британской армии в песках Африки. Суданская кампания была живописной кампанией и так и просилась на страницы газет. Иногда случалось, что какой-нибудь «специальный корреспондент» бывал убит, что, впрочем, не являлось убыточным для органа, у которого он находился на службе, так как это давало повод много и долго писать о его смерти, но чаще всего все рукопашные схватки, в которых эти господа принимали участие, сопровождались чудесным спасением, о котором можно было телеграфировать своей газете по восемнадцати пенсов за слово. При различных колоннах и отрядах находилось немало всяких корреспондентов, начиная ветеранами, которые вместе с кавалерией и чуть не на хвостах ее лошадей занимали Каир в 1882 году, и кончая неопытными новичками, явившимися заменить более достойных, выбывших из строя.

К числу первых, то есть тех, которые знали все входы и выходы до крайности бестолковых почтовых порядков военного времени, которые умели снискать расположение почтовых чиновников, войти в дружбу с телеграфистом и польстить тщеславию вновь произведенного штаб-офицера, когда сношения с прессой становились почему-либо затруднительными, принадлежал и господин, штопавший свои штаны, чернобровый Торпенгоу. Он являлся представителем Центрального Южного Синдиката в Суданской кампании как в Египетской войне, так и во всяких других войнах. Орган этот не особенно гнался за точностью сведений и сообщений о числе атак или отступлений; он рассчитывал на широкую публику и требовал только живописного изложения и обилия мелких подробностей, потому что в Англии больше радуются рассказу о солдате, который, вопреки правилам субординации, нарушил строй, чтобы спасти товарища, чем донесению о двадцати генералах, трудящихся в поте лица своего над интендантскими заготовками. В Суакиме этот Торпенгоу увидел молодого человека, сидевшего на краю недавно покинутого редута, величиною со шляпный картон, и зарисовывающего кучу тел, еще валявшихся на песчаной равнине.

– Сколько вам платят за это? – спросил Торпенгоу; приветствие корреспондента все равно что приветствие странствующего торговца на дороге.

– Ничего, я работаю для себя, – отозвался молодой человек, не взглянув даже на говорившего. – Есть у вас табак?

Торпенгоу подождал, пока он кончил набросок, посмотрел на него и спросил:

– Что вы здесь делаете?

– Ничего; здесь дрались, вот я и пришел.

– И вы всегда так рисуете?

Вместо ответа молодой человек показал еще несколько рисунков.

– «Бой на китайской джонке», – пояснил он, показывая их один за другим, – «Штурман, зарезанный во время бунта на судне», «Джонка на мели у Хакодате», «Сомали, погонщик мулов, которого секут плетью», «Граната, разрывающаяся в лагере у Берберы», «Солдат, убитый под Суакимом».

– Хм! – промычал Торпенгоу. – Не могу сказать, чтобы я был большим поклонником Верещагина, но о вкусах не спорят. А вы теперь делаете что-нибудь?

– Нет, я просто здесь для собственного удовольствия.

Торпенгоу окинул взглядом безотрадную картину выжженной солнцем местности и промолвил:

– Странное у вас представление об удовольствии, право. Деньги есть?

– Достаточно, чтобы прожить. Но вот что, если хотите, я готов делать для вас рисунки из военного быта.

– Мне это не нужно, но моя газета, быть может, пожелает их иметь. Вы, я вижу, можете рисовать недурно и, как мне кажется, не погонитесь за большим вознаграждением, не так ли?

– На этот раз нет; я не хочу упустить случай.

Торпенгоу снова посмотрел на рисунки и одобрительно покивал головой.

– Да, вы правы, что не хотите упустить случай, когда он вам представился...

И он поспешил в город и телеграфировал своей газете: «Нашел человека делает прекрасные рисунки дешево приглашать будут корреспонденции с рисунками».

А человек, сидевший на редуте, тем временем болтал ногами и бормотал про себя:

– Я знал, что случай подвернется рано или поздно, и клянусь, достанется им, если я выйду живым из этой переделки!

Вечером того же дня Торпенгоу сообщил своему новому знакомому, что Центральное Южное Агентство согласно принять его к себе на службу, на пробу, с уплатой за три месяца вперед.

– Да, кстати, как ваше имя? – осведомился Торпенгоу.

– Гельдар. А скажите, предоставляется мне полная свобода действий?

– Вы наняты на пробу и, следовательно, должны оправдать их ожидания. Вам всего лучше ехать со мной. Я отправляюсь вверх по Нилу с одним из отрядов и сделаю для вас все, что могу. Дайте мне несколько ваших рисунков, я отошлю им их для образца. – И мысленно он добавил: «Это самая выгодная афера, какую когда-либо делало Центральное Южное Агентство, а уж я-то им довольно дешево достался».

Таким образом, Дик Гельдар сделался членом достопочтенного братства военных корреспондентов, все члены которого получают неотъемлемое право работать сколько могут и получать, сколько будет угодно Провидению и их патронам. К этим правам прибавляется впоследствии гибкость языка, перед которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, взгляд ястребиный, пищеварение страуса и бесконечная «приспособляемость» ко всевозможным условиям жизни. Некоторые, конечно, умирают, не успев достигнуть этой степени совершенства, а другие, вернувшись в Англию, появляются в обществе в модных фраках, под которыми трудно отличить их необычные свойства, и потому слава их остается сокрытой от толпы. Дик следовал за Торпенгоу, куда бы ни занесла того его фантазия, и вместе им удавалось делать дело, которое, можно сказать, почти удовлетворяло их самих. Жилось им нелегко, во всяком случае, и под влиянием этой совместной жизни они вскоре тесно сблизились между собой.

Им приходилось есть с одной тарелки, пить из одной бутылки и – что всего сильнее укрепило их связь – сообща отправлять свою почту. Однажды Дик ухитрился мертвецки напоить телеграфиста в пальмовой хижине за Вторым Нильским порогом и в то время, когда этот последний блаженно спал на полу, воспользовался очень интересно составленным сообщением корреспондента другого синдиката, снял с него копию и отнес ее Торпенгоу, который при этом заметил, что в любви и в военной корреспонденции все дозволено, и вслед за тем сейчас же настроил прекрасную статью, воспользовавшись материалом, собранным его соперником по ремеслу.

Но подробный рассказ об их похождениях, от Фил и до безбрежных пустынь Герави и Муэллы, занял бы целые тома. Они были втиснуты в самую середину боевого каре и подвер-

гались ежеминутной опасности быть убитыми возбужденными схваткой солдатами; они сражались с вычными верблюдами на рассвете; они тряслись часами в глубоком безмолвии, под палящим солнцем, на маленьких, неумомимых египетских лошаденках и боролись с мутными волнами Нила, когда вельбот, на котором они плыли, наткнувшись на подводный риф, пробил себе дно и сорвал чуть не половину досок своей обшивки.

Теперь они сидели на песчаной отмели берега, между тем как следовавшие позади них вельботы подвозили арьергард их колонны.

– Да, – сказал Торпенгоу, вздохнув с облегчением и сделав последний стежок, – это была отменная работа!

– Да вы о чем, о кампании или о заплате? – спросил Дик. – Что касается меня, то я невысокого мнения об обеих.

– Вы, вероятно, хотели бы, чтобы привезли в Жакдулу восьмидесятитонные орудия! Ну, теперь я совсем доволен своими штанами.

И он повернулся с серьезным видом, чтобы показать себя со всех сторон, как это делают иногда клоуны.

– Очень красиво, особенно буквы на холсте – G. B. T. – Government Bullock Train.

– Извините, пожалуйста, – это мои инициалы: Gilbert Belling Torpenhow. Я нарочно выбирал этот лоскут, прежде чем стащить его... Кой черт, что там случилось с нашей кавалерией?

И Торпенгоу, прикрыв глаза рукой, стал вглядываться в поросший кустарником песчаный берег.

Вдруг громко затрубили тревогу, и люди, купавшиеся в реке или стиравшие на берегу, кинулись к оружию и амуниции.

– «Пизанские солдаты, захваченные врасплох во время купанья», – спокойно заметил Дик. – Помните вы эту картину? Она писана Микелем Анджело. [*Речь идет о картине Микеланджело Буонаротти – гениального итальянского скульптора, живописца, величайшего художника эпохи Возрождения.*] Все начинающие пишут копии с нее. Смотрите, эти кусты кишат неприятелем!

Отряд, оставшийся при верблюдах, призывал пехоту, а крики, доносившиеся с реки, доказывали, что и арьергард каравана заметил переполох и спешил принять участие в схватке. Так же быстро, как дуновение ветра покрывает рябью гладкую поверхность тихих вод, так скалистые кряжи и песчаные холмы, поросшие кустарником, запестрели вооруженными людьми. К счастью, арабы остановились на большом расстоянии и, жестикулируя, оглашали воздух радостными криками. Один из них, выехав несколько вперед, разразился даже длинной, витиеватой речью. Англичане не открывали огонь; они рады были воспользоваться этой маленькой провололочкой, чтобы дать пехоте время выстроиться в каре; купавшиеся и стиравшие на берегу люди бежали к ним на помощь, а подплывавшие вельботы спешно причаливали к ближайшему берегу и высаживали всех, кроме больных и нескольких человек, оставляемых для охраны. Наконец араб-оратор кончил свою речь, а его друзья разразились громкими криками одобрения, слившимися в общий вой.

– Они похожи на махдистов, – сказал Торпенгоу, проталкиваясь в самую гущу каре. – Но сколько их тут, тысячи! А я знаю, что соседние племена здесь не враждебны нам.

– Значит, махдисты взяли еще один город, – решил Дик, – и выслали против нас этих горластых чертей. Одолжите-ка мне ваш бинокль.

– Наши разведчики должны были уведомить нас; мы попались в ловушку! – ворчал молодой офицер. – Когда же, наконец, артиллерия откроет огонь! Эй вы, там, живее!

Но люди и сами отлично понимали и знали по опыту, что всякий отставший или замешкавшийся где-нибудь человек, в то время как уже начался бой, неизбежно должен будет расстаться с жизнью самым неприятным образом. Небольшие орудия с двух флангов каре открыли огонь в тот момент, когда каре двинулось вперед, чтобы занять вершину невысокого холма.

Все уже не раз участвовали в подобных схватках, и они не представляли собою ничего нового для этих людей. Все то же поспешное, торопливое выстраивание в каре, пыль, запах пота и кожи, шумным роем налетающие арабы, атака слабейшего звена каре, отчаянная рукопашная схватка в течение нескольких минут и затем – безмолвие пустыни, нарушаемое лишь пронзительным гиканьем тех, кого небольшая горсточка кавалерии пыталась преследовать скорее для острстки. Люди стали относиться к подобным схваткам довольно беспечно. Орудия стреляли, каре подвигалось вперед, а люди, не научившиеся из книг, что идти в атаку тесной стеной на орудия – безумно, в числе трех тысяч человек устремились на английский отряд. Несколько выстрелов дали знать об их натиске, несколько всадников в белых бурнуссах выскочили вперед, но главную массу составляли голые дикари, вооруженные копьями и мечами. Инстинкт сынов пустыни, где царит вечная война, подсказал им, что правый фланг каре слабее. Ядра и гранаты артиллерии бороздили их густую массу, ружейный огонь косил их сотнями; никакие цивилизованные войска не выдержали бы такого отпора, но эти дикари, оставшиеся в живых, перепрыгивали через умирающих, которые цеплялись за их ноги, а раненые с проклятьями устремлялись вперед, пока не падали под ноги своим, – и вся эта черная масса обезумевших людей, точно поток, прорвавший плотину, устремлялась на правый фланг каре.

Но вот линия запыленных войск и бледно-голубое небо пустыни над ними утонули в клубах порохового дыма и пыли, а камни на раскаленном песке и иссохшие кустики вереска приобрели вдруг огромное значение, так как люди по ним измеряли свое беспорядочное бегство, машинально отмечая его этапы тем или другим камнем или кустом. Тут не было и подобия правильного сражения. Солдаты по опыту знали, что неприятель может атаковать каре сразу со всех четырех сторон, но что их дело было уничтожить лишь тех отдельных врагов, которые находились непосредственно перед ними, и бить штыком в спину тех, кто мчался пред ними или мимо них, а падая, увлекать за собой в падении убийцу и удерживать его до тех пор, пока чей-нибудь приклад не раздробит ему голову. Дик, Торпенгоу и молодой врач, состоявший при отряде, терпеливо ждали момента, когда напряжение схватки достигнет своего высшего предела. Помочь раненым до окончания боя не было ни малейшей надежды, и потому эти трое не спеша продвигались к слабейшей стороне каре, на которую была произведена главнейшая атака и где число раненых и убитых было особенно велико. Когда нападающие толпой хлынули на правый фланг каре, и послышался свист копий и неистовые крики и вопли неприятеля, какой-то всадник с пронзительным воем ворвался в самый центр каре с кучкой из тридцати или сорока человек; ряды каре сомкнулись за ними, другие кинулись к ним на выручку со всех сторон. Раненые, понимавшие, что им оставалось недолго жить, не хотели умирать без пользы и ловили за ноги врага, силясь стащить его на землю или, схватив брошенное оружие, стреляли наудачу в кучу сражающихся. Дик смутно сознавал, что кто-то нанес ему сильный удар по шлему, что сам он выстрелил почти в упор из револьвера в свирепое черное лицо с пеной на губах, которое тотчас же перестало походить на человеческое лицо. Он видел, что Торпенгоу упал вместе с арабом, которого он пытался скрутить и осилить в рукопашной схватке, и барахтался вместе с ним на земле. Доктор работал штыком как умел. Какой-то потерявший свой шлем солдат выстрелил из ружья через плечо Дика, и порохом ему обожгло щеку. Дик подался в сторону Торпенгоу, который теперь, свалив с себя противника, вскочил на ноги и вытирал о штаны окровавленный большой палец; араб схватился обеими руками за голову и страшно застонал, но в следующий момент поднял копьё и бросился на Торпенгоу, который быстро отскочил к Дику, под защиту его пистолета. Дик выстрелил дважды; араб подпрыгнул и упал навзничь. Дик заметил, что у него отсутствовал один глаз. Ружейный огонь усиливался, но к нему уже примешивались торжествующие крики английских солдат. Атака была отбита; враги бежали. Центр каре походил на бойню, и все пространство вокруг было усеяно горами человеческого мяса. Дик кинулся вперед, протискиваясь между опьяненными боем, обезумев-

шими людьми. Оставшиеся в живых враги отступали и бежали, тогда как маленькая, очень маленькая горсточка кавалерии, преследуя их, давила и топтала лошадьми отставших.

Далеко за чертой поля битвы лежало упавшее в кусты широкое окровавленное арабское копье, вероятно брошенное во время отступления, а еще дальше расстилалась темная равнина пустыни. Солнце, ударив прямо в сталь копья, превратило его на мгновение в жутко багровый огненный диск. Кто-то позади Дика крикнул ему в самое ухо: «Стреляй же, разиня!» Дик поднял револьвер и выстрелил. Багряное пятно бросилось ему в глаза и приковало к себе его внимание, а крики, раздававшиеся вокруг него, превратились в какой-то отдаленный ропот, точно шум моря. Он видел перед собой только багровый диск, револьвер, и чей-то голос, торопивший его, напомнил ему что-то давнишнее, забытое и отрадное. Он ждал, что будет дальше. Что-то точно треснуло у него в голове, и с минуту у него стало темно перед глазами и что-то словно жгло его лицо. Он выстрелил наобум, и, когда пуля со свистом пронеслась в беспредельное пространство пустыни, он едва слышно пробормотал:

– Промажусь! Больше патронов нет, надо будет бежать домой.

Он медленно поднес руку к голове, и, когда он опустил ее, она оказалась вся в крови.

– Эх, дружище, да вы, кажется, не на шутку ранены! – воскликнул Торпенгоу. – Вы спасли мне жизнь! Спасибо вам! Идемте... Вам нельзя оставаться здесь.

Дик бессильно склонился на плечо Торпенгоу и бормотал что-то бессвязное о том, что надо целить ниже и левее, и затем как сноп повалился на землю и замолк. Торпенгоу дотащил его до доктора и, сдав его ему с рук на руки, засел писать сообщение «о кровопролитной битве, в которой наши войска одержали блестящую победу» и т. д.

И всю эту ночь, когда люди расположились лагерем подле своих вельботов, тощая черная фигура плясала на песчаной отмели при ярком свете луны и выкрикивала, что Хартум, проклятый Богом Хартум погиб! погиб! погиб! и что два больших парохода засели на скалах на Ниле, под самым городом, и что из всего их экипажа не спасся ни один человек, а Хартум погиб! погиб! погиб!..

Но Торпенгоу не обращал внимания на эти выкрики; он сидел у изголовья Дика, который громко взывал к беспокойной реке, призывая Мэзи!.. и опять Мэзи!

– Странный феномен! – заметил Торпенгоу, поправляя одеяло. – Вот человек, который все время твердит все одно и то же, и всего только одно женское имя; а я немало видел людей в бреду... Дик, вот шипучее питье!

– Благодарю, Мэзи, – ответил Дик.

III

Суданская кампания окончилась несколько месяцев тому назад. Разбитая голова Дика поправилась, и Центральный Южный Синдикат уплатил ему известную сумму за его работы, которые, как они сочли нужным сообщить ему, были не совсем на высоте своего назначения и их требований. Дик письмо это бросил в Нил, получил по чеку в Каире и там же распростился с Торпенгоу.

– Я намерен теперь некоторое время отдохнуть, – сказал корреспондент. – Не знаю, где я поселюсь в Лондоне, но, если нам суждено Богом встретиться, мы, наверное, встретимся. А вы уж не думали ли оставаться здесь в ожидании новой войны? Войны теперь не будет до тех пор, пока наши войска не займут вновь Южный Судан. Попомните мои слова. Прощайте! Благослови вас Бог! Возвращайтесь, когда истратите все деньги, и сообщите мне ваш адрес.

Торпенгоу уехал, а Дик еще некоторое время мотался по Каиру, Александрии, Измаилии и Порт-Саиду, особенно Порт-Саиду. Несправедливость и пороки царят повсеместно, во всех частях света, но квинтэссенция всех несправедливостей и пороков всех материков земного шара находится в Порт-Саиде. Через этот окруженный песками ад, где мираж играет целыми днями над Горькими Озерами, проходят бесконечной вереницей большинство мужчин и женщин, которых вы когда-либо знавали и которых вы увидите здесь, если только прождете их достаточно долго.

Дик поселился в доме скорее шумном, чем приличном, и проводил вечера на набережной, посещая большое число прибывающих судов и видясь на них со многими друзьями и знакомыми. Тут встречал он прелестных и любезных англичанок, с которыми он вел довольно игривые разговоры на веранде Shephard's Hotel'я, и вечно спешащих военных корреспондентов и знакомых шкиперов с тех судов, которые во время Суданской кампании перевозили войска, и множество офицеров, отправлявшихся в колониальные войска или возвращавшихся на родину, и множество других лиц, принадлежащих к менее почтенным профессиям. Здесь ему представлялся выбор моделей всех существующих рас Востока и Запада, и возможность видеть их в моменты сильнейшего возбуждения, за игорным столом, в кабаках, танцклассах и всевозможных вертепах и притонах разврата, а для отдохновения от столь возбуждающих зрелищ и картин к его услугам была длинная перспектива канала, раскаленные пески пустыни, вереницы кораблей и белые палаты госпиталей, в которых лежали английские солдаты. И он пытался перенести на холст или картон углем, карандашом или красками все, что он видел и успевал уловить, и, когда весь его запас моделей и природы истощался, он опять искал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно уносило много денег, и он уже выбрал вперед причитающиеся ему сто двадцать фунтов годового дохода. «А теперь придется или работать, или подыхать с голоду», – решил он, и ждал решения своей судьбы, когда неожиданно получил загадочную телеграмму от Торпенгоу из Англии, гласившую: «Возвращайтесь скорее вам повезло приезжайте».

Широкая улыбка разлилась по его лицу.

– Уже! – подумал он. – Это приятно слышать. Сегодня ночью устрою оргию; теперь все равно, или пан, или пропал! Настало время, чтобы и мне повезло, наконец! – И вот он вручил половину всей своей наличности своим добрым друзьям, господину и госпоже Бина, и заказал им самый залихватский занзибарский танец. Monsieur Бина весь трясся с перепою, но madame приятно улыбалась, сочувственно кивая головой.

– Monsieur, вероятно, хочет найти «тело» – и, конечно, будет зарисовывать; я знаю, monsieur любит странные забавы.

Сам Бина при этом приподнял голову над койкой, стоявшей в задней коморке, и дрожащим голосом пробормотал: «Понимаю, мы все знаем, monsieur. Monsieur художник, как некогда был и я, и в результате monsieur заживо попадет в ад, как я попал».

И он безобразно засмеялся.

– Вы также должны присутствовать во время танца, я так хочу, – сказал Дик, – вы мне нужны.

– Вам нужно мое лицо? Я так и знал. Боже мой! Это чтобы запечатлеть весь ужас и весь позор моего падения! Нет, я не хочу! Убери его отсюда! Это сам дьявол. Или, по крайней мере, потребуй с него, Селестина, дороже.

И добрейший господин Бина принялся метаться и кричать.

– В Порт-Саиде все продажно, – сказала madame, – и если вы желаете, чтобы мой супруг пришел в зал, это будет стоить дороже. Полсоверена, согласны?

Деньги были уплачены вперед, и ночью, на заднем дворе дома господина Бина, обнесенном высокой каменной стеной, состоялась бешеная пляска после обильного яствами и особенно питием ужина. Сама хозяйка, в полинялом шелковом платье, поминутно сползавшем с ее желтых плеч, сидела за расстроенным, дребезжащим роялем, и под звуки избитого западного вальса, при свете керосиновых ламп, голые занзибарские девушки кружились в неистовой, бешеной пляске. Сам Бина сидел на стуле и бессмысленным взглядом ничего не видящих, оловянных глаз смотрел перед собой до тех пор, пока вихрь пляски и дребезжание рояля не проникли сквозь винные пары и алкоголь, заменивший кровь в его жилах, после чего его лицо вдруг засветилось. Тогда Дик грубо взял его за подбородок и повернул его лицом к свету. Madame при этом взглянула через плечо и улыбнулась, оскалив все зубы. Дик, прислонясь к стене, зарисовывал всю эту картину более часа, пока керосиновые лампы не начали чадить, а танцовщицы не упали в изнеможении на землю. Тогда Дик захлопнул свой альбом и повернулся, чтобы уйти. Бина тихонько дотронулся до его локтя.

– Покажите! – тоскливо прохныкал он. – Ведь я тоже когда-то был художником, да, я!

Дик показал ему свой набросок.

– И это я? – воскликнул несчастный. – Вы это увезете с собой и покажете всему свету, каков я, Бина?

Он застонал и заплакал.

– Monsieur заплатил за все, – сказала madame. – До приятного свидания, monsieur.

Калитка заднего двора захлопнулась за Диком, и он направился по песчаной улице в ближайший игорный дом, где его хорошо знали. «Если счастье улыбнется мне, значит, ехать, если проиграюсь, то останусь здесь!»

Он расставил монеты в живописном беспорядке на сукне стола, не решаясь даже взглянуть на то, что он делает. Но счастье благоприятствовало ему. Три оборота колеса дали ему двадцать фунтов, и он отправился прямо на пристань договориться с капитаном старого грузового парохода, который доставил его в Лондон с весьма скудным запасом капитала в кармане.

Тонкий серый туман висел над городом; на улицах было холодно, хотя в Англии было лето.

«Веселая погодка, и, как видно, не расположена даже измениться, – подумал Дик, шагая от доков к западной части города. – Ну, что же мне делать!»

Тесно жавшиеся друг к другу дома не дали ответа. Дик смотрел на длинные, неосвещенные улицы и прислушивался к шуму движения.

– Ах вы, кошачьи норы! – сказал он, обращаясь к ряду почтенных полуособняков. – Знаете ли вы, что вам предстоит? Вы должны будете доставить мне лакеев и горничных, и королевскую роскошь, – вот что! – и при этом он причмокнул губами. А пока я приобрету себе приличное платье и обувь, а затем вернусь и буду попирать вас ногами!

Он энергично зашагал и вдруг заметил, что один сапог у него сбоку лопнул. Когда он остановился, чтобы разглядеть изъян, какой-то прохожий столкнул его в сточную канавку. «Ладно, – подумал он, – и это тоже зачтется. Погодите, я тоже потолкаю вас!»

Хорошее платье и сапоги недешевы, но Дик вышел из магазина с уверенностью, что теперь он на некоторое время будет прилично одет, но всего только с пятьюдесятью шиллингами в кармане. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, и поселился в одной комнатке, где наволочки и простыни были снабжены огромными метками на случай кражи, и никто, кажется, никогда не спал в постели. Когда ему принесли платье, он разыскал Центральный Южный Синдикат и там справился об адресе Торпенгоу; здесь ему намекнули, что Синдикат еще должен ему немного за рисунки.

– Сколько? – осведомился Дик таким тоном, как будто он привык считать миллионами.

– Тридцать или сорок фунтов. Если угодно, мы можем уплатить вам сейчас же, хотя обыкновенно мы выдаем деньги раз в месяц.

«Если я только покажу им, что нуждаюсь в деньгах, то я пропал, – сказал сам себе Дик. – Я возьму свое потом», – и громко добавил:

– Не беспокойтесь из-за таких пустяков, мне сейчас деньги не нужны, тем более что я теперь уезжаю на месяц в деревню, а когда вернусь, тогда и заеду за этими деньгами.

– Но мы надеемся, мистер Гельдар, что вы не намерены прервать с нами отношения?

Так как профессия Дика состояла в изучении лиц и выражений, то он всегда зорко наблюдал за своим собеседником и на этот раз тоже нечто особенное в выражении лица говорившего не укрылось от его внимания.

«Это что-нибудь да значит, – подумал он. – Не буду ничего предпринимать, не повидавшись с Торпенгоу. Тут пахнет чем-то крупным».

И он ушел, не дав никакого определенного ответа, и вернулся в свою комнатенку на улице, прилегающей к докам.

Это было седьмое число месяца, а этот месяц, как он отчетливо помнил, имел тридцать один день. Человеку с добропорядочными вкусами и привычками и со здоровым аппетитом нелегко просуществовать двадцать четыре дня на пятьдесят шиллингов. Он платил семь шиллингов в неделю за свое помещение, причем у него оставалось немного меньше одного шиллинга в сутки на пищу и питье. Разумеется, он прежде всего закупил материалы для живописи, в которых он уже давно нуждался. За полдня исследований и сравнений различных способов питания он пришел к заключению, что наилучшая пища – это сосиски с картофелем по два пенса за порцию. Сосиски как фриштых [*Фриштых – закуска; здесь в значении: перекусить до обеда.*] раза два-три в неделю – недурно. Те же сосиски на завтрак – уже несколько однообразно. Сосиски на обед – положительно возмутительно. И по прошествии трех дней Дик возненавидел сосиски и заложил свои часы, чтобы перейти к бараньей голове, которая, впрочем, не столь уж дешева, как это кажется, так как в ней много костей. Затем он снова вернулся к сосискам и картофелю, а после того ограничился уже одним картофелем в течение целого дня и чувствовал себя весьма скверно, потому что ощущал боль в желудке от недоедания. Тогда он заложил свой пиджак и галстук и с сожалением вспоминал о тех деньгах, которые он раньше попусту тратил на пустяки. Ничто так не располагает к назидательным размышлениям, как чувство голода, и Дик во время своих редких прогулок по городу – он чувствовал потребность в моционе, потому что моцион возбуждал в нем такого рода желания, которые не могли быть удовлетворены – встречаясь с людьми, невольно делил весь род человеческий на две категории: на тех, которые, по-видимому, могли бы дать ему поесть, и тех, от которых нельзя было этого ожидать. «Я раньше даже не подозревал, как многому мне еще придется научиться при изучении человеческих лиц», – подумал Дик, и в награду за его смирение Провидение надоумило одного извозчика в той закускойной, где Дик питался в этот вечер, оставить недоеденной большую краюху хлеба. Дик взял ее и был готов даже сразиться с целым миром из-за обладания ею.

Так дотянулся месяц до конца, и, не чуя под собой ног от нетерпения, он отправился получать свои ежемесячные доходы. После того он поспешил к Торпенгоу, и на всем протяжении коридора меблированных комнат Дик все время ощущал запах жареного мяса и других кушаний. Торпенгоу жил на верхнем этаже дома с меблированными комнатами; Дик ворвался к нему и был принят в объятия столь горячие, что у него затрещали кости; затем Торпенгоу потащил его ближе к свету, не переставая говорить о двадцати различных вещах сразу.

– Но выглядите вы осунувшимся и похudevшим, – заметил корреспондент.

– Есть у вас что-нибудь поесть? – спросил Дик, глаза которого блуждали по комнате.

– Сейчас мне подадут завтрак. Что вы скажете насчет сосисок?

– Нет, все, что хотите, только не сосиски! Торп, ведь я подыхал с голоду тридцать дней и тридцать ночей, питаюсь одной кониной.

– Ну, какое же было ваше последнее безумство?

На это Дик принялся с неудержимым воодушевлением рассказывать о своем существовании в течение последних двух-трех недель, а затем расстегнул сюртук, под которым не оказалось жилета.

– Жил я так, что едва-едва свел концы с концами, еле-еле выкарабкался, – заключил он.

– Разума у вас немного, но выносливостью вы можете похвалиться. А теперь поешьте, а потом потолкуем.

Дик набросился на яйца и ветчину и уплетал их с таким усердием и жадностью, что вскоре его желудок уже не мог ничего более вместить. Затем Торпенгоу передал ему набитую уже трубку, и он затянулся с таким наслаждением, с каким это делают люди, давно не видавшие хорошего табака.

– Уф! – вздохнул он. – Вот блаженство!.. Ну?..

– Почему, черт возьми, вы не обратились ко мне?

– Не мог; я и так уже должен вам слишком много, дружище, а кроме того, у меня было нечто вроде предубеждения, что эта временная голодовка принесет мне счастье впоследствии. Теперь это дело прошлое, и никто в синдикате не знает о том, как мне туго пришлось. Ну же, выпаливайте скорее, в каком именно положении находятся в настоящее время мои дела?

– Вы получили мою телеграмму? Как я вам говорю, вам повезло – публике ужасно полюбили ваши рисунки. Не знаю за что, но это так. Твердят о том, что у вас есть какая-то свежесть, какая-то непосредственность передачи, словом, что-то совершенно новое в манере изображать вещи. И так как все это по большей части доморожденные англичане, то они уверяют, что у вас есть какая-то особенная глубина взгляда, «проникновенность». С полдюжины периодических изданий желают заполучить вас в сотрудники, а авторы книг желают, чтобы вы взяли их иллюстрировать.

Дик сердито промычал.

– Мало того, желают, чтобы вы выпустили ваши мелкие наброски для продажи, так как торговцы эстампами и рисунками думают нажить на них хорошие деньги и полагают, что затраченные на вас деньги явятся хорошим и выгодным помещением капиталов. Боже мой, как безотчетны вкусы толпы!

– Напротив, они весьма осмысленны.

– Толпа вообще подвержена внезапным, беспричинным увлечениям, и вот вы сделали случайным объектом одного из таких увлечений людей, утверждающих, что они интересуются так называемым искусством. В данный момент вы вошли в моду, вы божок, феномен, словом, все, что хотите. Я оказался единственным человеком, которому здесь было кое-что известно о вас, и вот я стал показывать наиболее нужным и могущим быть вам полезным людям те несколько рисунков и набросков, которые вы иногда дарили мне. Многие являлись даже в Центральный Южный Синдикат, чтобы ознакомиться там с вашими рисунками, и эти последние ценители вашего таланта, по-видимому, довершили вашу славу. Теперь счастье в ваших руках!

– Ну, нашли счастье! Вы называете счастьем, когда человек мытарился по белу свету, как бездомный пес, в ожидании этого счастья. Нет, я, может быть, буду еще счастлив впоследствии, а теперь мне нужен угол, где работать.

– Вот идите сюда, – сказал Торпенгоу, перейдя площадку лестницы. – Смотрите, эта комната похожа на большую коробку или ящик, но она вам подойдет. Здесь у вас верхний свет или как вы его там называете... и много места, а там позади маленькая спальня; чего вам лучше?

– Да, это хорошо, – согласился Дик, обводя глазами большую комнату, занимавшую чуть не треть всего верхнего этажа этого меблированного дома, с видом на Темзу. Бледно-желтое освещение, проникая в комнату, позволяло видеть всю грязь и неприглядность этого помещения. Три шага отделяли эту комнату от лестницы и еще другие три шага от дверей комнаты Торпенгоу. Сама лестница тонула во мраке, слабо освещенном кое-где маленькими газовыми рожками; снизу доносились голоса и обрывки фраз и хлопанье дверей во всех семи этажах, погруженных в теплый полумрак местной атмосферы.

– И здесь вас ничем не стесняют? – осведомился Дик. Как истый кочевник он научился особенно дорожить свободой.

– Нет, делайте, что хотите! Вам дается отдельный ключ и предоставляется полнейшая свобода. Мы здесь все больше постоянные жильцы. Я не стал бы рекомендовать этот дом молодым людям из союза христианской нравственности, но вам здесь будет удобно. Я занял эту комнату для вас, когда послал вам телеграмму.

– Вы удивительно добры и заботливы, милый друг!

– Я не думал, что вы пожелаете жить врозь со мной, – сказал Торпенгоу, положив руку на плечо Дика, и они принялись молча ходить по комнате, которая впредь должна была именоваться студией или мастерской. Послышался стук в дверь комнаты Торпенгоу.

– Верно, какой-нибудь разбойник захотел выпить, – сказал репортер, весело отзываясь на стук посетителя.

Вошел отнюдь не разбойничьего вида маленький, довольно тучный господин средних лет, во фраке с атласными отворотами. Его бледные губы были полураскрыты, а под глазами выделялись свинцово-синие круги в глубоких впадинах.

– Слабое сердце, очень слабое сердце, – сказал себе Дик, пожимая его руку, – у него пульс чувствуется в пальцах.

Господин этот отрекомендовался главою Центрального Южного Синдиката и одним из самых горячих поклонников таланта мистера Гельдара.

– Смею вас уверить, от имени синдиката, – продолжал джентльмен, – что мы вам бесконечно обязаны, и надеюсь, что вы, с вашей стороны, также не забудете, что мы в значительной мере содействовали вашей известности.

Он тяжело дышал, поднявшись на восьмой этаж. Дик взглянул на Торпенгоу, левый глаз которого на мгновение совершенно зажмурился.

– Я, конечно, этого не забуду, – сказал Дик, в котором инстинктивно пробудилось чувство самозащиты. – Вы так хорошо оплачивали мои работы, что я никак не могу этого забыть, вы понимаете. Да, кстати, когда я устроюсь здесь, я пришлю к вам за моими рисунками, которые я желал бы получить обратно. Их там должно быть около полутора десятков.

– То есть... да... Я именно об этом и приехал поговорить и боюсь, что мы не можем удовлетворить вашего желания, мистер Гельдар. За отсутствием всякого предварительного соглашения, ваши рисунки являются нашей собственностью.

– Что вы хотите этим сказать? Что вы намерены оставить их у себя?

– Да, и мы надеемся на ваше содействие; понятно, за известное вознаграждение; вы можете нам устроить небольшую выставку, которая, пользуясь поддержкой нашего имени и тем влиянием, каким мы пользуемся в печати, окажется небезвыгодной для вас даже и в материальном отношении. А ваши рисунки...

– Принадлежат мне. Вы пригласили меня по телеграфу и платили мне самые жалкие гроши, а теперь еще думаете присвоить себе мои рисунки! Да, черт побери, ведь это все мое достояние!

Торпенгоу не спускал глаз с лица Дика и тихонько насвистывал.

Дик молча зашагал по комнате, как бы соображая что-то. Ему представлялось, что весь его маленький запас рисунков пущен в продажу этим господином, имени которого он не уловил, что его первое оружие, с которым он рассчитывал выйти на борьбу с жизнью, у него отнято, выбито из рук еще перед началом битвы этим представителем синдиката, того самого синдиката, к которому Дик не питал ни малейшего уважения. Собственно, несправедливость этого поступка не удивляла его; он слишком часто видел, что сильные мира всегда правы, чтобы быть слишком щепетильным в вопросе о праве и справедливости. Но он положительно жаждал крови этого господина во фраке, и когда Дик заговорил снова с преувеличенной вежливостью, то Торпенгоу хорошо знал, что это предвещает настоящую бурю.

– Прошу извинения, сэр, но я желал бы знать, нет ли у вас какого-нибудь более... более молодого господина, которому вы могли бы поручить сговориться со мной об этом деле?

– Я говорю от имени синдиката и не вижу причины, для чего посвящать в это дело третье лицо.

– Вы не видите, но сейчас вы это увидите... Будьте столь добры вернуть мне мои рисунки.

Посетитель с недоумением посмотрел на Дика и затем на Торпенгоу, прислонившегося к стене. Он не привык, чтобы бывшие сотрудники синдиката приказывали ему быть столь добрым и сделать то или другое.

– Это, конечно, хладнокровный грабеж, – критически вставил Торпенгоу, – но я боюсь, я сильно опасаюсь, что вы наскочили не на такого человека, Дик; будьте осторожны, не забудьте, что мы здесь не в Судане.

– Примите во внимание, какую услугу вам оказал синдикат, познакомив публику с вашими работами, выдвинув ваше имя из мрака неизвестности.

Это было неудачное замечание: оно напоминало Дику о годах скитаний, проведенных в нищете и одиночестве, в борьбе и неудовлетворенности, и с этими воспоминаниями слишком резко сопоставлялся сытый джентльмен, желавший воспользоваться плодами всех этих мучительных годов.

– Не знаю, право, как мне быть с вами, – задумчиво начал Дик. – Конечно, вы вор, и вас следовало бы поколотить до полусмерти, но вы, вероятно, умерли бы от этого, а я вовсе не желаю видеть вас мертвым здесь, в этой комнате, потому что это дурная примета, когда только что собираешься въехать в комнату. Но вы не горячитесь, сэр, это вредно для вас, не волнуйтесь, – при этом Дик взял его за руку немного ниже локтя и в то же время провел другой рукой по неуклюжему, тучному торсу джентльмена вдоль спины под фраком. – Боже правый! – воскликнул он, обращаясь к Торпенгоу. – И этот седовласый олух еще осмеливается быть вором! Я видел в Эснехе погонщика верблюдов, у которого ремнями содрали кожу за то, что он украл полфунта гнилых фиников, и он был силен и крепок, как ремень, а этот мягок, как баба.

Нет худшего унижения, как чувствовать себя в руках человека, который не хочет даже вас ударить. Глава синдиката стал тяжело дышать, а Дик продолжал ходить вокруг него, поглаживая его, точно кошка, играющая с мягким ковром, ощупывая его, как опытный врач, и даже проводя пальцем по свинцово-синим впадинам под глазами и озабоченно качая при этом головой.

– И вы собирались обокрасть меня, присвоить себе то, что всецело мое! Вы, человек, который не знает, когда ему придется умереть. Напишите сейчас же записку в вашу контору – вы говорите, что вы глава синдиката – и прикажите отдать Торпенгоу все мои рисунки, все до единого. Погодите минутку, у вас дрожат руки... Ну вот теперь! – Он подsunул ему записную

книжку, ручку, и записка была написана. Торпенгоу взял ее и ушел, не проронив ни слова, и Дик все ходил вокруг своего ошеломленного пленника, преподнося ему один за другим такого рода советы, какие он считал полезными для его души. Когда Торпенгоу вернулся с гигантским портфелем, он услышал, как Дик говорил почти ласковым голосом:

– Я надеюсь, что это послужит вам уроком; а если вы вздумаете беспокоить меня каким-нибудь глупым иском за самоуправство, то, поверьте мне, я изловлю вас где попало и поколочу вас, а вы после того умрете. Да вы и так недолго проживете. Ну а теперь идите! Убирайтесь подобру-поздорову!

Глава синдиката удалился ошеломленный, едва держась на ногах, а Дик вздохнул с облегчением:

– Уфф! Ну и народ! Ни чести, ни совести. Первое, с чем бедный, обездоленный сирота встречается здесь, это дневной грабеж, организованное воровство и мошенничество. Подумать только, какая черная душонка у этого человека! Рисунки мои все, Торп?

– Все, сто сорок семь штук. Ну, признаюсь, Дик, вы начали недурно.

– Он сам напросился на это. Для него ведь это был вопрос нескольких фунтов, а для меня это было все! Не думаю, чтобы он возбудил судебное дело по этому поводу. Я дал ему совершенно безвозмездно несколько весьма хороших советов относительно его здоровья, и вообще он отделался дешево на этот раз. Ну а теперь посмотрим мои рисунки.

Две минуты спустя Дик лежал, растянувшись, на полу, погруженный в рассмотрение содержимого портфеля, любовно и самодовольно посмеиваясь при мысли о том, за какие гроши они были приобретены.

Время было далеко за полдень, когда Торпенгоу подошел к дверям студии и увидел Дика отплясывающим какую-то дикую сарабанду под окном в потолок.

– Торп, ведь я работал лучше, чем я думал! – сказал он, не прерывая своей пляски. – Они положительно хороши... Чертовски хороши, говорю вам! Я устрою выставку на свой риск и страх. А этот господин собирался отобрать их у меня! Знаете ли, что теперь я положительно жалею, что не побил его.

– Полно вам, – сказал Торпенгоу, – лучше молитесь Богу, чтобы Он избавил вас от дерзости и нахальства, от которых вам, как видно, никогда не избавиться, и привезите сюда ваши вещи, которые вы оставили там, где вы временно остановились, да приведите этот сарай в сколько-нибудь благообразный вид.

– А затем... затем, – промолвил Дик, все еще топчась на месте и приплясывая, – мы ограбим египтян!

IV

– Ну, как дела? Вошли вы во вкус успеха? – спросил Торпенгоу месяца три спустя; он только что вернулся из провинции, где отдыхал.

– Ничего, – отозвался Дик, сидя перед мольбертом в своей мастерской и облизывая губы. – Но мне нужно много больше того, что я имею. Теперь скудные времена прошли, и я вошел во вкус шикарной жизни.

– О, берегись, дружище! Ты вступаешь на стезю тяжелого труда.

Торпенгоу развалился в мягком шезлонге, с маленьким фокстерьером, прикорнувшим у него на коленях, в то время как Дик грунтовал холст. Небольшое возвышение, род эстрады, задний план и манекен были единственными предметами, выделявшимися среди общего хаоса этой студии; груды всякого старого хлама – вроде походных фляг, обшитых войлоком, портупей, потрепанных, поношенных мундиров и разнородного оружия валялись повсюду; следы грязных ног на эстраде свидетельствовали о том, что военный нарушитель только что ушел отсюда. Тусклое, осеннее солнце начинало скрываться, но в углах мастерской уже залегала тень.

– Да, – говорил Дик, – я люблю властвовать над людьми, над толпой и над обстоятельствами; я люблю веселье и забавы, люблю шум и суету и всего больше люблю деньги. Я почти что люблю тех людей, которые мне их дают. Почти люблю... но тем не менее это забавные люди, удивительно забавные люди!

– Во всяком случае, они были весьма милы и благосклонны к вам; выставка ваших жалких набросков, по-видимому, дала вам немало. А заметили вы, что газеты назвали ее «Выставкой диких работ»?

– Пускай! Я тем не менее продал все до последнего клочка холста, и, право, мне кажется, что они раскупали мои работы потому, что считали меня художником-самоучкой – самородным талантом. И я уверен, что получил бы вдвое больше за мои рисунки, если бы я писал их на шерстяной ткани или выцарапал их на костях павших верблюдов, вместо того чтобы писать их белым и черным либо красками. Право, это преудивительные люди! И нельзя их назвать ограниченными – нет! Один из них заявил мне, что невозможно, чтобы на белом песке были голубые – ультрамариновые – тени, как мы это видим, и впоследствии я узнал, что этот господин никогда не уезжал дальше Брайтона, но он, видите ли, считал себя знатоком искусства. Он прочел мне целую лекцию на эту тему и посоветовал мне поступить в какую-нибудь школу для изучения техники. Любопытно, что бы сказал на это старик Ками?

– А когда же вы учились у Ками, многообещающий молодой человек?

– Я занимался у него в течение двух лет в Париже. Он преподавал посредством личного магнетизма. Все, что мы слышали от него, было: «Continuez mes enfants!» – и затем нам предоставлялась возможность работать, кто как мог. У него самого был божественный рисунок, да и в красках он тоже кое-что понимал. Ками в грезах видел краски, потому что я могу поклясться, что он никогда не мог нигде видеть таких красок в действительности, но он создавал их, и выходило хорошо.

– Помните некоторые виды в Судане? – сказал Торпенгоу.

– Ах, не говорите! – воскликнул Дик, подскочив на своем месте. – Меня начинает опять тянуть туда. Какие краски! Опал и умбра, янтарь и винно-красный, кирпичный и серо-желтый, цвет хохолка какаду на буром или коричневом, а среди всего этого какой-нибудь черный как уголь утес и декоративный фриз вереницы верблюдов, капризными фестонами вырисовывающихся на чистом бледно-бирюзовом фоне неба...

Он вскочил и принялся ходить взад и вперед по комнате.

– И вот, если вы постараетесь передать на холсте все это именно так, как это создал Бог, по мере силы данного вам Богом таланта...

– О, скромный юноша!.. Ну, продолжайте!..

– То с полдюжины юных дикарей, которые никогда не были даже в Алжире, непременно скажут вам, во-первых, что ваше представление заимствовано из фантастических рассказов, а во-вторых, что такого рода картина не есть произведение искусства...

– Вот что вышло из того, что я на месяц покинул город! За это время вы, Дикки, изволили прохаживаться по игрушечным лавкам и прислушиваться к людским разговорам.

– Я не мог удержаться, – виноватым тоном сказал Дик. – Вас здесь не было, и я чувствовал себя одиноким в эти длинные вечера. Не может же человек вечно работать.

– Но человек может пойти в трактир и выпить.

– Я жалею, что не сделал этого; но я столкнулся с какими-то людьми, которые называли себя артистами, и я знал, что некоторые из них умели и могли рисовать, но не хотели рисовать. Они угостили меня чаем – чаем, в пять часов пополудни – и в это время говорили об искусстве и своем душевном состоянии. Как будто их души имели какое-нибудь значение! За последние шесть месяцев я слышал больше об искусстве, а видел его меньше, чем за всю мою жизнь. Помните вы Кассаветти, того, который сопровождал один из караванов в пустыню и работал в каком-то из континентальных синдикатов? Он напоминал мне рождественскую елку, когда явился к нам, увешанный всякой амуницией, походной бутылкой, револьвером, походной сумкой, складным фонарем и еще Бог весть чем. Он имел привычку постоянно играть этими вещами, показывать их всем и рассказывать о том, как ими пользоваться; но что касается работы, то он ничего не делал, а только списывал свои сообщения с донесений Нильгаи.

– Славный старый Нильгаи! Он теперь здесь, в городе, и толще, чем когда-либо. Он хотел быть здесь сегодня вечером. Какое сравнение с этими людьми! Вам не следовало сходиться с этими модными франтами, Дик. Подделом вам, если их разговоры нарушат ваше душевное равновесие.

– Не нарушат! Зато их общество научило меня тому, что такое искусство, святое, чистое искусство!

– Значит, вы чему-нибудь научились в мое отсутствие. Ну, что же такое искусство?

– Это преподносит им то, что они знают, и после того, как вы сделали это один раз, делайте это и впредь. – Дик вытащил на середину холст, стоявший повернутым к стене. – Вот вам образчик искусства. Эта картина будет воспроизведена в одном из еженедельников, за моей подписью. Я назвал ее «Последний выстрел». Это срисовано с маленькой акварели, сделанной мной там, у Эль-Магриба. Я тогда напоил до бесчувствия моего натурщика, великолепного карабинера; я потчевал его до того, что он превратился в растрепанного, одурелого и осатанелого молодца, со шлемом на затылке и живым страхом смерти в глазах, с кровью, сочащейся из резаной раны на ноге. Он не был особенно пригляден, но это был подлинный солдат, и весьма внушительный. И как он был написан!

– О, скромное дитя мое!

Дик рассмеялся.

– Но ведь я только одному вам говорю это. Я написал его, как только умел, и что же? Заведующий художественной частью этого журнала заявил мне, что такая картина не понравится его подписчикам, что мой солдат груб, неизящен, неистов. Человек, бьющийся не на жизнь, а на смерть, должен, видите ли, всегда выглядеть вылощенным франтом, деликатным и любезным! Им желательно что-нибудь более спокойное, более цветистое по краскам. Я мог бы, конечно, многое возразить на это, но лучше говорить с овцой, чем с заведующим художественной частью журнала. Я взял свой «Последний выстрел» назад, и вот, смотрите, что я сделал: я надел на моего солдата прелестный красный мундир, без единого пятнышка, начистил ему сапоги – видите, как блестят? Это искусство!.. Начистить ружье – ведь в войсках всегда чистят

ружья – это тоже искусство! Лицо ему выбрил начисто, руки вымыл и только что не надушил и придал его физиономии выражение сытого довольства и благодушия. В результате получилась модная картинка для военного портного, а денег я за нее получил, благодарение Богу, вдвое больше, чем за мою первоначальную картину, за которую просил умеренную цену.

– И вы намерены выпустить эту вещь за вашей подписью?

– Почему же нет? Я уже сделал это, только в интересах священного замороженного искусства и «Еженедельника Диккенсона».

Торпенгоу молча курил некоторое время, и затем из тучи табачного дыма, словно удар грома, раздался его приговор:

– Если бы вы были только надутый тщеславием пузырь, Дик, я бы прямо махнул на вас рукой; я бы предоставил вам идти ко всем чертям по избранной вами дороге; но когда я подумую о том, что вы такое для меня, и вижу, что к пустому тщеславию вы еще добавляете грешное самолюбие и негодование двенадцатилетней девчонки, я возмущаюсь вами! Вот что!

Холст дрогнул и прорвался под ударом сапога Торпенгоу, а маленький фокстерьер соскочил на пол и ринулся вперед, полагая, что где-то возятся крысы.

– Если хотите выругаться – ругайтесь, но возразить вам нечего. Я продолжаю: вы – идиот, потому что ни один человек, рожденный женщиной, недостаточно силен для того, чтобы позволять себе вольности с публикой, даже будь она в самом деле такова, как вы говорите, а ведь это не так.

– Да ведь она же ничего не понимает, эта публика. Чего же можно ожидать от людей, родившихся и выросших при этом свете? – и Дик указал рукой на желтоватый туман. – Если они желают вместо красок политуру для мебели – пусть и получают политуру, раз они за нее платят. Ведь это только люди, мужчины и женщины, а вы говорите о них, как будто они боги!

– Это звучит очень красиво, но совершенно не относится к делу. Это люди, для которых вам приходится работать волей или неволей. Они ваши господа. Не обманывайте себя, Дикки, вы недостаточно сильны, чтобы издеваться над ними или над самим собой, что еще того хуже. Кроме того... Бинки, назад! Это красная мазня никуда не убежит!.. Если вы не одумаетесь вовремя, эта погоня за чеками погубит вас. Вы опьянеете – да вы и теперь уже опьянели – от легкой наживы, потому что ради этих денег и вашего проклятого тщеславия вы готовы сознательно выпускать плохую работу. Вы и без того создадите достаточно скверной мазни, сами того не подозревая. И так как я люблю вас, Дикки, и вы любите меня, то я не допущу, чтобы вы изуродовали себя даже ради всего золота Англии; это решено. А теперь ругайтесь, если хотите.

– Не знаю, – сказал Дик, – я все время старался рассердиться на вас, но не могу, вы так возмутительно рассудительны. Я полагаю, что в «Диккенсовом еженедельнике» выйдет скандал.

– Ну какого черта вздумали вы работать на еженедельники? Ведь это же медленное самоотравление!

– Но оно приносит мне желанные доллары, – сказал Дик, засунув руки в карманы.

Торпенгоу посмотрел на него с величайшим презрением.

– И я думаю, что имею дело с человеком! – сказал он. – А это – ребенок!

– Нет, – возразил Дик, быстро повернувшись к нему, – вы не знаете, что значит верный, обеспеченный заработок для человека, который всегда жестоко нуждался в деньгах. Ничто не в состоянии заплатить мне за некоторые былые радости жизни. Помните, на той китайской джонке, перевозившей свиней, где мы питались исключительно только одним хлебом с вареньем, потому что Го-Ванг не хотел нам давать ничего другого, и все пропахло свиньями, – китайскими свиньями! – разве я не работал в поте лица, не голодал рейс за рейсом, месяц за месяцем ради лучшего будущего? Ну а теперь, когда я добился лучшего, я намерен пользоваться им, пока время не ушло. Пусть платят, ведь они все равно ничего не смыслят.

– Но чего же еще желает ваше величество? Курить больше того, сколько вы курите, вы не можете; пить вы не охотник, обжорством вы не отличаетесь. Одеваетесь вы всегда в темные цвета, потому что это вам идет; держать лошадей, как я вам предложил однажды, вы отказались на том основании, что лошадь может захромать, а каждый раз, когда вам приходится перейти через улицу, вы берете наемный экипаж, и даже вы недостаточно тупы для того, чтобы считать театры, ужины и женщин и все то, что вы можете купить за деньги, настоящей жизнью. Так скажите же мне, на что вам деньги?

– Они должны быть у меня – должны всегда быть под рукой, вот здесь, в кармане! – воскликнул Дик. – Провидение послало мне золотые орешки, пока у меня есть зубы, чтобы грызть их; я еще не нашел ореха себе по вкусу, но я держу зубы наготове. Может быть, мы когда-нибудь вздумаем с вами ради своего удовольствия поскитаться по свету.

– Без определенного дела, без цели, без всякой помехи и без соревнования с какими-нибудь конкурентами, соперниками по ремеслу? Да через неделю с вами нельзя было бы говорить, как с разумным существом, а, кроме того, я бы не поехал с вами. Я не хочу и не желаю пользоваться тем, что куплено ценою души человека, а это было бы именно так. Да что тут говорить, Дик, вы безрассудный безумец, и больше ничего!.. Подите прогуляйтесь и постарайтесь вернуть себе хоть каплю самоуважения, потому что самоуважение всегда остается самоуважением на всем пространстве земного шара! Да, кстати, если зайдет к нам Нильгаи вечером, могу я показать ему вашу мазню?

– Ну, разумеется. Вы бы еще спросили, можете ли вы, не постучавшись, входить в эту дверь? – И Дик взял шляпу и вышел поразмыслить в одиночестве, в быстро сгущавшемся лондонском тумане.

Полчаса спустя после его ухода Нильгаи с трудом взбирался по лестнице, ведущей в студию. Нильгаи был старейший и тучнейший военный корреспондент, занимавшийся этим делом со времени изобретения этого ремесла. За исключением Кинью, этого великого «Орла Войны», не было человека, равного ему по части военной корреспонденции, и каждый свой разговор он неизменно начинал с вступления, что на Балканах беспокойно и что весной там должны произойти беспорядки.

Торпенгоу засмеялся, увидев его.

– Бог с ними, с беспорядками на Балканах, – начал он, – эти мелкие государства вечно между собой грызутся. А слышали вы об удаче Дика?

– Да, он стал известностью, о нем кричат повсюду, не так ли? Надеюсь, вы сбиваете с него излишнюю спесь. Он нуждается в одергивании время от времени.

– Действительно. Он уже начинает позволять себе некоторые вольности с тем, что он называет своей репутацией.

– Уже? Клянусь Юпитером, прыткий он парень! Я не знаю, какова его репутация, но могу сказать, что он прогорит, если станет продолжать в этом духе.

– И я говорю ему то же самое. Но мне думается, что он мне не верит.

– Они никогда не верят, когда только начинают карьеру... А это что такое у вас на полу?

– Это образец его последней дерзости, – сказал Торпенгоу, пригладивая прорванные края холста и показывая его Нильгаи, который с минуту внимательно посмотрел на него и затем тихонько присвистнул.

– Это хромо-олео-маргаринография, – сказал он. – Как это его угораздило написать такую вещь? А вместе с тем как ловко он уловил тот тон, на который так падка публика, думающая не мозгами, а сапогами и читающая не глазами, а локтями! Спокойная и хладнокровная дерзость этой насмешки почти спасает картину. Но он не должен продолжать в таком духе. Уж не слишком ли его захвалили и превознесли? Ведь вы знаете, что наша публика не знает чувства меры ни в чем, она готова назвать его вторым Мейсонье, пока он в моде, но для молоденького жеребенка это неподходящая диета.

– Я не думаю, чтобы это особенно влияло на Дика. Вы с таким же успехом могли бы назвать молодого волчонка львом и поднести ему этот комплимент вместо сочной кости; но здесь грозит беда самой душе человека. Дик гонится только за деньгами.

– Я полагаю, что, бросив военное ремесло, он не замечает, что обязанности его остались те же и что только владельцы его работ стали другие.

– Где ж ему это видеть? Ведь он воображает, что теперь он сам себе господин.

– В самом деле? Я мог бы разубедить его для его блага, если только печатное слово не утратило своей силы; ему положительно нужна плетка.

– Да, но ее надо умеючи пустить в ход. Я и сам бы выпорол его хорошенько, да слишком люблю его.

– Ну, я не стану церемониться с ним. Он имел дерзость попробовать отбить у меня одну женщину в Каире. Я позабыл об этом, конечно, но теперь могу припомнить.

– И что же? Он и отбил?

– Это вы увидите, когда я расправлюсь с ним. Но, в сущности, какая в том будет польза? Оставьте его в покое, и он сам собой вернется на путь истинный, если в нем есть что-либо доброе. А все-таки я проберу его, и проберу порядком, в нашем «Катаклизме».

– Желаю вам успеха; но я полагаю, что ничто, кроме добрых батогах, не в состоянии образумить Дика. Он страшно подозрителен и не признает никаких законов.

– Это вопрос темперамента. То же самое мы видим и у лошадей: одних вы хлещете, и они слушаются и везут; других вы хлещете, и они брыкаются, а третьих вы хлещете, и они, что называется, ухом не ведут.

– Вот таков именно и Дик! – сказал Торпенгоу. – Дождитесь его, он скоро вернется, а пока вы можете начать здесь вашу критику; я покажу вам кое-что из его позднейших и слабейших работ.

Дик инстинктивно направился к реке, желая рассеять свои думы; он стоял, опершись на каменные перила пристани, и глядел на быстро несущуюся под сводами Вестминстерского моста Темзу. Он задумался было над последними словами Торпенгоу, но, по обыкновению, отвлекся от этих мыслей и стал изучать лица мимо проходящих людей. У некоторых смерть была написана на лице, и Дик удивлялся, как они могли смеяться; другие, в громадном большинстве неуклюжие и грубые, дышали любовью; а иные были просто изнурены непосильной работой и удручены заботой и трудом. Но Дик чувствовал, что все они представляют собою ценный материал для его работы. Бедняки должны страдать для того, чтобы он, Дик, мог научиться чему-нибудь, мог создать что-нибудь хорошее, а богачи должны были платить за то, что ему даст это учение, за то, что он создаст. И таким образом его слава и текущий счет в банке будут возрастать. Тем лучше для него. Он страдал достаточно и теперь вправе извлекать выгоды из страданий других. Ветер разогнал на минуту туман, и солнце, проглянув, отразилось багрово-красным пятном в воде. Дик не спускал с него глаз до тех пор, пока в журчанье воды между сваями ему не послышался ропот прибоя во время отлива. В этот момент девушка, которую, как видно, усиленно преследовал мужчина, громко крикнула: «Отвяжись, ты, скотина!» Новый порыв ветра погнал густую струю черного дыма от стоявшего у пристани речного парохода прямо в лицо Дику; на минуту дым застилал ему глаза, он быстро повернулся и очутился лицом к лицу с... Мэзи.

Ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в девушку, но не изменили ее серых лучистых глаз, тонких пунцовых губ и выразительно очерченных линий рта и подбородка. И как бы для полноты сходства с прежней Мэзи на ней было гладенькое, плотно прилегающее к фигуре серое платье.

Но душа человека не вполне послушна его воле, и в безотчетном порыве Дик, как школьник, невольно крикнул: «Эй!» – а Мэзи отозвалась, как бывало: «О, Дик, это ты?» И прежде чем его мозг успел освободиться от соображений о текущем счете и балансе и передать его

нервным центрам какое-либо движение, каждый импульс всего его существа бешено забился и затрепетал и во рту у него пересохло. Туман, рассеявшийся на минуту, снова навис над землей, и сквозь его прозрачную дымку лицо Мэзи казалось жемчужно-белым. Не говоря ни слова, Дик пошел рядом с ней, приспособливаясь к ее шагу, как бывало во время их послеобеденных прогулок на болотистом побережье моря. Наконец Дик спросил, несколько сипло от скрывае-мого волнения:

– Что случилось с Амоммой?

– Она сдохла, Дик; не от проглоченных патронов, а просто обьялась. Ведь она всегда была страшной обжорой. Не смешно ли?

– Да-а... нет... Ведь ты говоришь об Амомме?

– Да-а... но... как странно... скажи, откуда ты явился? Где ты живешь?

– Вон там, – он указал в сторону западной части города. – А ты?

– О, я, я живу в северной части, там, далеко, за парком. Я очень занята.

– А что ты делаешь?

– Пишу красками, работаю очень усердно. Больше мне делать нечего.

– Как? Что такое произошло? Ведь у тебя было триста фунтов годового дохода.

– Они и есть у меня. Но я занимаюсь живописью, вот и все!

– Ты разве одна?

– Со мной живет еще одна девушка. Не иди так быстро, Дик, ты сбиваешься.

– Так ты это заметила?

– Конечно. Ты всегда не умел идти в ногу.

– Да, это правда. Прости. Так ты все время занималась живописью?

– Ну, конечно. Ведь я же говорила тебе, что займусь этим. Я была сперва у Следа, затем у Мертона в Сент-Джон-Вуде, затем училась в национальной академии, а теперь работаю у Ками.

– Но ведь Ками в Париже!

– Нет, у него есть теперь студия в Витри на Марне. Летом я работаю у него, а зимой живу здесь в Лондоне. Я здесь держу квартиру и хозяйство.

– И много ты продаешь?

– Кое-что, изредка. А вот мой омнибус; я должна ехать, или мне придется ждать еще целых полчаса. Прощай, Дик!

– Прощай, Мэзи. Но разве ты не скажешь мне, где ты живешь? Я должен видиться с тобой, быть может, я сумею тебе помочь. Я... я тоже немного пишу.

– Я, может быть, буду завтра в парке. Обычно я иду от Мраморной арки вниз по аллее и обратно. Это моя обычная маленькая прогулка.

– Конечно, еще увидимся! – И она вскочила в омнибус и скрылась в тумане.

– Будь я проклят! – воскликнул Дик и пошел домой.

Торпенгоу и Нильгаи застали его на лестнице, ведущей в его мастерскую, сидящим на ступеньках и повторявшим эту самую фразу с неподражаемо серьезным видом.

– Вы и будете прокляты, трижды прокляты, после того как я разделаюсь с вами, – сказал Нильгаи, выдвигая свое тучное тело из-за спины Торпенгоу и помахивая перед ним листом свеженаписанной рукописи.

– А-а... Нильгаи! Вернулись? Ну, что на Балканах и во всех маленьких государствах? У вас, как всегда, одна сторона лица припухла.

– Это неважно. А вот мне поручили хорошенько пробрать вас в печати. Торпенгоу не хочет этого сделать из ложной деликатности, а я пересмотрел всю вашу мазню в мастерской и должен вам сказать, что это настоящий позор!

– Ого! Вот как? Но если вы думаете, что вам удастся проучить меня, то вы весьма ошибаетесь. Ведь вы и на бумаге-то неповоротливы, как баржа с грузом. И пожалуйста, поторапливайтесь, потому что я спать хочу.

– Хм... хм!.. Для начала я буду говорить только о ваших картинах; вот мой приговор: «Работа без убеждения, дарование, растраченное на пошлости, труд и время, убитые на то, чтобы добиться легкого, дешевого успеха у одержимой модой публики».

– Так-с! Это по поводу «Последнего выстрела» во втором издании... Ну-с, продолжайте.

– Все это неизбежно должно привести к одному только концу: к забвению, которому предшествует равнодушие и за которым следует презрение. И от этой участи вы, господин Гельдар, еще далеко не застрахованы.

– Ай, ай, ай, ай! – непочтительно воскликнул Дик. – Окончание неуклюжее и пошлый газетный жаргон, но тем не менее совершенная правда. А все же! – и он разом вскочил на ноги и выхватил рукопись из рук Нильгаи. – Вот что я вам скажу. Вы старый, развратный, беспутный и истрепанный гладиатор, вы, которого посылают, едва только где-нибудь разгорится война, тешить слепые, грубые, зверские инстинкты и вкусы британской публики, у которой нет теперь цирковых арен для гладиаторов, но взамен им дают специальных корреспондентов. Вы тот жирный, откормленный гладиатор, который выходит из боковой дверки и рассказывает о том, что он будто бы видел. Вы стоите на одной доске с энергичным епископом, любезно улыбающейся актрисой и разрушительным циклопом или с моей прекрасной особой, – и после того вы осмеливаетесь поучать меня, клеймить мои работы! Да я поместил бы на вас карикатуры в четырех газетах, Нильгаи, если бы это стоило того.

Нильгаи поморщился: о подобной возможности он не подумал.

– А пока я возьму вот эту мерзость и разорву ее на мелкие клочки – вот так! – И ключья рукописи полетели под лестницу. – А вы идите себе домой, Нильгаи, ложитесь в вашу холодную, одинокую постельку и оставьте меня в покое. Я тоже собираюсь лечь спать и проспать до завтра.

– Да ведь нет еще семи часов! – заметил Торпенгоу.

– Ну, а по-моему, два часа ночи, – сказал Дик, пятясь к дверям своей комнаты. – Я должен бороться с серьезным кризисом, и не хочу обедать.

Дверь закрылась, и замок щелкнул.

– Ну, что вы прикажете сделать с таким человеком? – сказал Нильгаи.

– Оставим его. Он словно бешеный.

В одиннадцать часов кто-то постучал в двери мастерской.

– Нильгаи еще у вас? – послышался голос из студии. – В таком случае скажите ему, что он мог бы выразить всю свою ненужную болтовню следующим афоризмом: только свободные связаны, и только связанные свободны – и затем скажите ему еще, Торп, что он идиот и я тоже.

– Хорошо. А теперь идите ужинать. Ведь вы курите на голодный желудок.

Ответа не последовало.

V

На следующее утро Торпенгоу застал Дика в густых облаках дыма.

– Ну, милый сумасброд, как вы себя чувствуете?

– Не знаю. Все время пытаюсь выяснить этот вопрос.

– Вы бы лучше принялись за работу.

– Может быть, но к чему спешить? Я сделал открытие, Торп: в моем космосе слишком много Его.

– Неужели? Что же, это открытие вызвано моими нравоучениями или нотацией Нильгаи?

– Я неожиданно натолкнулся на него сам собою. Да, много, слишком много Его; ну а теперь я примусь за работу.

Он пересмотрел несколько незаконченных эскизов, натянул новый холст на подрамник, вымыл три кисти, поставил Бинки на пятки манекена, поворошил свою коллекцию старого оружия и амуниции и затем вдруг взял и ушел, заявив, что он достаточно поработал на сегодня.

– Нет, это положительно непозволительно! – воскликнул Торпенгоу. – Первый раз сегодня Дик уходит из дома в ясное утро, когда он мог бы писать. Может быть, он открыл в себе душу, или артистической темперамент, или что-либо одинаково ценное и столь же важное. Вот что выходит из того, что он оставался один в течение целого месяца! Может быть, он уходил из дома по вечерам. Это мне надо знать.

И он позвонил старому управляющему, которого ничто не могло ни удивить, ни встревожить.

– Битон, скажите мне, случилось ли мистеру Гельдару не обедать дома во время моего отсутствия?

– Он ни разу не надевал фрак, сэр, за все это время и всегда обедал дома, но раза два он приводил с собой сюда после театра каких-то удивительных молодых людей, замечательных чудаков, говорю вам. Вы, господа жильцы верхнего этажа, вообще мало стесняетесь, но мне кажется, сэр, что спускаться с пятого этажа вниз по лестнице трость и затем спускаться за нею вчетвером, выстроившись в ряд, распевая: «Дай-ка водки, душка Вилли!» в два часа ночи, не раз и не два, а десятки раз неделекатно по отношению к другим жильцам. И я говорю: не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Таково мое правило.

– Разумеется, вы правы. Я, действительно, думаю, что верхний этаж не из самых спокойных в этом доме.

– Я не жалуясь, сэр. Я дружески поговорил по этому поводу с мистером Гельдаром, но он только рассмеялся и подарил мне картину, портрет какой-то дамы – прекрасный портрет, несколько не хуже олеографии. Конечно, она не так блестит, как лакированная фотографическая карточка, но я говорю: даренному коню в зубы не смотрят... А своего фрака мистер Гельдар давным-давно не надевал...

– Значит, все обстоит благополучно, – сказал себе Торпенгоу. – Оргии вещь полезная, и у Дика крепкая голова, но когда дело доходит до женских глазок, тогда я уже не столь спокоен за него... Бинки, смотри, не превращайся никогда в человека, маленькая собачонка; люди прескверные животные, поступающие совершенно безрассудно.

* * *

Дик направился к северной части города через парк, но мысленно он шел с Мэзи по болотистой низине и громко рассмеялся, вспомнив тот день, когда он изукрасил рога Амоммы бумажными завитками, а Мэзи, побледнев от бешенства, наградила его пощечиной. Какими

долгими казались ему в воспоминаниях эти четыре года, и как нежно связан он с Мэзи был каждый час, каждый момент этого времени! Буря на море, и Мэзи в старом платье на берегу откидывает свои мокрые волосы с лица и смеется, глядя, как рыболовные лодки спешат домой, удирая от бури; жаркое солнце стоит над болотистой низиной, и Мэзи сердито и с недовольной гримасой, вздернув подбородок, втягивает носом воздух и говорит: «Отчего это море так скверно пахнет?» Мэзи убегает от резкого ветра, налетевшего на песчаную отмель и гнавшего перед собой песок, который несся в воздухе, как мелкие дробинки; Мэзи со спокойным и уверенным видом плетет небылицы мистрис Дженнет, в то время как он, Дик, поддерживает ее более грубой и наглой ложью, а иногда даже и ложной клятвой. Мэзи, осторожно пробирающаяся с камня на камень по песчаной отмели, с пистолетом в руке и строго сжатыми губами; и опять Мэзи, в сером платье, сидящая на траве, на полпути между жерлом старой крепостной пушки и цветком желтой кувшинки на болоте. Эти картины проносились перед ним одна за другой, и на последней он остановился особенно долго. Дик был вполне счастлив и как-то особенно умиротворен, что для него являлось еще совершенно новым, неизведанным чувством. Ему даже не приходило в голову, что он мог бы лучше использовать это время, в которое он бродил по парку в этот день.

– Сегодня прекрасный свет для работы, – сказал он, благодушно наблюдая за своей тенью. – Какой-нибудь бедняга художник должен был бы дорожить этим светом... А вот и Мэзи.

Она шла к нему от Мраморной арки, и теперь он увидел, что ничто в ее манере и походке не изменилось. Он был рад, что это была все та же Мэзи. Они не поздоровались, потому что и прежде не делали этого.

– Что ты здесь делаешь в это время? – спросил Дик тоном человека, который имел право на подобный вопрос.

– Бездельничаю, как видишь. Я обзлилась на один подбородок и выскребла его, а потом засунула этот холст в кучу другого такого же живописного мусора и ушла.

– Что это был за сюжет?

– Так, просто головка, фантазия, но она мне никак не удавалась, противная!

– Я не люблю писать по выскребленному месту, когда я пишу тело; краски ложатся неровно, и получается шероховатость, когда высохнут краски.

– Нет, если только выскресть умеючи, – сказала Мэзи, делая движение рукой, чтобы изобразить наглядно, как она это делает; на белой рюшке от рукава было пятно краски.

Дик засмеялся.

– Ты так же неряшлива, как прежде.

– Да и ты такой же; посмотри-ка на свои руки!

– Ей-богу правда! Они еще грязней твоих. Я не думаю, чтобы ты вообще изменилась в чем-либо. Однако посмотрим. – И он принялся критически разглядывать Мэзи. Бледно-голубоватая дымка осеннего дня, окутывая пустое пространство между деревьями парка, служила фоном для серого платья и черного бархатного тока на черных волосах, венчавших выразительный и энергичный профиль.

– Нет, ничего не изменилось. Как это хорошо! Помнишь, как я раз прищемил твои волосы дорожной сумкой?

Мэзи утвердительно кивнула головой и, подмигнув, повернулась к Дику лицом.

– Погоди минутку, – остановил он ее, – углы рта как будто несколько опустились. Кто огорчил тебя, Мэзи?

– Не кто иной, как я сама. Я мало продвигаюсь вперед с моей работой, а между тем работаю усердно и стараюсь, а Ками говорит...

– *Continuez mesdemoiselles! Continuez toujours, mes enfants!* Ками несносный человек! Прошу прощения, Мэзи, я тебя перебил.

– Да, он именно так говорит. Нынче летом он сказал мне, что я теперь работаю лучше и что он позволит мне выставить что-нибудь в этом году.

– Но не здесь, конечно?

– Конечно, не здесь – в салоне.

– Ты высоко летаешь!

– Зато я достаточно долго билась крыльями о землю, – засмеялась она. – А ты, Дик, где выставляешь?

– Я совсем не выставляю. Я продаю.

– А какой твой жанр?

– Да разве ты не слышала? – спросил Дик, глядя на нее широко раскрытыми изумленными глазами. «Неужели это возможно?» – думал он, и он подыскивал какое-нибудь средство убедить ее в своем успехе. Они были недалеко от Мраморной арки, и он предложил: – Пройдем немного по Оксфорд-стрит; я тебе покажу.

Небольшая кучка людей стояла перед витриной хорошо знакомого Дику магазина эстампов.

– Здесь выставлен снимок с одной из моих картин, – сказал он, стараясь скрыть свое торжество. Никогда еще успех не казался ему так сладок. – Вот в каком жанре я работаю. Нравится тебе? – спросил он.

Мэзи смотрела на мчащуюся во весь опор под неприятельским огнем конную батарею на поле сражения. За ее спиной стояли два артиллериста, пробравшиеся вперед к самому окну.

– Гляди, они затянули граснеро! – сказал один из них. – Они ее совсем загнали... Ну, да как видишь и без нее управятся... А передовой-то управляется с конем лучше тебя, Том! Смотри, как ловко он заставляет ее слушаться повода! Молодчина!

– Третий номер вылетит при первом толчке, – заметил другой.

– Не вылетит, – возразил первый, – видишь, как твердо он уперся ногой в стремя. Право, ловкий парень!

Дик следил за выражением лица Мэзи, и душа его преисполнилась радости и чрезмерного упоительного торжества. Ее больше интересовала эта маленькая толпа прохожих, собравшихся у витрины, чем сама картина, привлекавшая внимание этой толпы. То, что высказывала и выражала эта толпа, было ей понятно. Это был несомненный, громадный успех.

– И я тоже хочу такого успеха. О, как бы я хотела добиться его! – сказала она наконец вполголоса.

– И это сделал я, – добродушно-хвастливо сказал Дик. – Посмотри на их лица; моя картина задела их за живое; они сами не знают, что именно так поражает их в этой картине, но я знаю. И знаю, что моя картина хороша.

– Да, я это вижу. О, какая это радость – достигнуть того, чего ты достиг! Это настоящий успех! Да!.. Расскажи мне, Дик, как ты этого достиг?

Они вернулись снова в парк, и Дик выложил своей подруге всю длинную эпопею своих деяний со всей самовлюбленностью и надменностью юноши, говорящего с любимой женщиной. С первых же слов в его рассказе местоимение я замелькало, как телеграфные столбы в глазах путешественника, едущего на курьерском поезде. Мэзи слушала и кивала головкой. История его борьбы, лишений и страданий несколько не трогала ее. А он заканчивал каждый эпизод своей повести словами: и это дало мне верное представление о колорите, или же о свете, о красках и тонах, или еще о чем-нибудь, имевшем отношение к его искусству. Не переводя дыхания, он облетел с ней полсвета и говорил так, как он никогда в жизни не говорил. И в пылу увлечения им вдруг овладело желание, безумное желание схватить эту девушку, которая все время кивала головкой, повторяя: «Да, я понимаю. Продолжай!» – схватить ее и унести к себе, потому что эта девушка была Мэзи, и потому что она понимала, и потому что он имел на нее

право, и потому еще, что она была его желанная, желанная превыше всякой меры, превыше всякой другой женщины!..

Наконец, он как-то вдруг разом оборвал.

– Итак, я взял все, что хотел, и добился всего, что мне было нужно, – сказал он. – Но все это я взял с боя! А теперь расскажи ты.

Повесть Мэзи была почти так же сера, как и ее платье. Годы упорного труда, поддерживаемого безумной гордостью, которая не позволяла ей признать себя неудачницей, хотя лица сведущие смеялись, а туманы мешали работать, и старик Ками часто бывал не добр и даже саркастично отзывался о ее работах, а девушки из других студий были обидно вежливы. Было и несколько светлых мгновений в виде картин, принятых на провинциальные выставки или нашедших случайного покупателя, но во всем ее рассказе часто-часто звучала тоскливая жалоба: «Вот, видишь, Дик, не было удачи, я не имела успеха, несмотря на то, что работала так упорно и так усердно».

Жалость закралась в душу Дика. Вот так же точно жаловалась ему Мэзи, когда ей не удавалось попасть в цель, в буруны над старыми сваями, за полчаса до того момента, когда она впервые поцеловала его. А это было словно вчера.

– Пустяки, – сказал Дик. – Я хочу сказать тебе что-то, если ты обещаешь поверить моим словам. – Слова эти мчались у него сами собой, без малейшего усилия с его стороны. – Все это, вместе взятое, не стоит одного большого желтого цветка кувшинки на болоте пониже форты Килинг.

Мэзи слегка покраснела.

– Тебе хорошо говорить, ты достиг успеха, ты им наслаждался, а я нет.

– Так позволь мне говорить; я знаю, что ты меня поймешь. Мэзи, дорогая моя, быть может, это звучит нелепо, но этих десяти лет как не было, и я вернулся к тебе, и все осталось то же, что было прежде, разве ты этого не видишь? Ты одинока теперь, и я тоже. Что пользы сокрушаться и горевать? Лучше приди ко мне, дорогая моя!

Мэзи чертила зонтиком на песке дорожки перед скамьей, на которой они сидели.

– Я понимаю, – медленно протянула она. – Но я должна делать свое дело, должна выполнить свою задачу.

– Так выполним ее вместе, дорогая. Я не помешаю твоему делу.

– Нет, я бы не могла. Это моя задача, моя, моя и моя! Я всю свою жизнь была одинока и замкнута в себе и не хочу принадлежать никому, кроме самой себя. Я все помню не хуже тебя, но это в счет не идет. Мы были оба дети, малые ребята и не знали, что нам предстоит впереди. Дик, не будь эгоистом! Мне кажется, что я вижу перед собой возможность некоторого успеха в будущем году, не отнимай его у меня, не лишай меня этого утешения!

– Прошу извинения, дорогая, я виноват, что говорил глупо. Я, конечно, не могу требовать, чтобы ты отказалась от цели всей твоей жизни только потому, что я вернулся. Я вернусь к себе и буду ждать терпеливо, когда ты меня позовешь.

– Но, Дик, я вовсе не хочу, чтобы ты ушел от меня, ушел из моей жизни теперь, когда ты только что вернулся.

– Я к твоим услугам. Прости меня.

Дик пожирал взглядом взволнованное и смущенное личико девушки. Его глаза сияли торжеством, потому что он не мог допустить мысли, чтобы Мэзи рано или поздно отказала ему в своей любви, раз он ее так сильно любит.

– Это дурно с моей стороны, Дик, – сказала Мэзи еще более медленно и с расстановкой. – Это очень дурно и эгоистично, но я была так одинока!.. Ты не так понял меня, Дик; теперь, когда я опять встретилась с тобой, как это ни глупо, но я хочу удержать тебя подле себя. Я не хочу, чтобы ты ушел из моей жизни.

– Ну, конечно, это вполне естественно, ведь мы же принадлежим друг другу.

– Нет, но ты всегда умел понимать меня, и в моей работе, в моей задаче так много такого, в чем бы ты мог помочь мне. Ты многое знаешь и знаешь, как это делается, и ты должен помочь мне.

– Мне кажется, что я знаю, или же я сам ничего не смыслю; итак, ты не хочешь терять меня из вида окончательно и хочешь, чтобы я помог тебе в твоей работе?

– Да, но помни, Дик, что ничего из этого никогда не выйдет. Вот почему я и чувствую себя такой эгоисткой. Пусть все останется так, как есть. Я так нуждаюсь в твоей помощи, Дик.

– И я помогу тебе. Но прежде давай подумаем: во-первых, я должен видеть твои картины и посмотреть твои эскизы и наброски, чтобы ознакомиться с твоей манерой письма, а тебе следовало бы познакомиться с тем, что говорят газеты о моих работах, и тогда я дам тебе несколько указаний и добрых советов, согласно которым ты и будешь работать впредь. Не так ли, Мэзи?

И снова в глазах Дика засветился проблеск самодовольного торжества.

– Ты слишком добр ко мне, Дик, слишком добр, но это потому, что ты утешаешь себя ложной надеждой на то, чего никогда не будет, а я, зная это, все-таки желаю тебя удержать подле себя. Не упрекай меня за это впоследствии, прошу тебя.

– Нет, я иду на это с открытыми глазами; и, кроме того, «Королева не может быть не права!». Что меня удивляет, это не твой эгоизм, а твоя смелость, что ты решаешься пользоваться мной.

– Ба! Да ведь ты только Дик...

– Прекрасно, я только это, но ты, Мэзи, веришь, не правда ли, что я тебя люблю? Я не хочу, чтобы у тебя создалось какое-то ложное представление, что мы с тобой точно брат и сестра.

Мэзи взглянула на него и затем опустила глаза.

– Это, быть может, глупо, но я верю. Я желала бы, чтоб ты ушел от меня, прежде чем рассердишься на меня. Но... но девушка, которая живет со мной, рыжеволосая импрессионистка, и мы расходимся с ней во всем.

– Как и мы с тобой, я полагаю. Но ничего! Месяца через три мы вместе будем смеяться над этим.

Мэзи печально покачала головой.

– Я знала, что ты не поймешь и тем сильнее ты будешь огорчен, когда убедишься в этом. Посмотри мне в лицо, Дик, и скажи мне, что ты видишь, Дик?

Они стояли и смотрели с минуту друг на друга. Туман сгустился и заглушал или, вернее, смягчал шум городского движения и суеты Лондона по ту сторону ограды парка. Дик призвал на помощь все свое с таким трудом приобретенное знание человеческих лиц и сосредоточил все свое напряженное внимание на глазах, рте и подбородке под черным бархатным током.

– Ты все та же прежняя Мэзи, а я все тот же я, – сказал он наконец. – Оба мы с норвом, но один из нас должен будет сдать. А теперь поговорим о ближайшем будущем. Мне надо будет когда-нибудь зайти к тебе и посмотреть твои работы, я полагаю всего лучше, когда рыжеволосая девушка уберется куда-нибудь.

– Воскресенья – самое удобное для меня время. Приходи ко мне по воскресеньям. Мне нужно так много спросить у тебя и посоветоваться с тобой. А теперь мне пора опять за работу.

– Постарайся разузнать до воскресенья, что я такое на самом деле, – сказал Дик. – Я не хочу, чтобы ты верила мне на слово в том, что я говорил тебе о себе. Прощай, храни тебя Бог.

Мэзи тихонько ускользнула, точно серенькая мышка. Дик провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась из вида, но он не мог слышать, как она строго сказала себе: «Я дрянная, себялюбивая, бездушная дрянная. Но ведь это Дик, а Дик поймет!»

Никто еще не объяснил до сих пор, что происходит, когда непреодолимая сила упрется в неподвижную преграду, хотя многие думали об этом, так же как думал об этом и Дик. Он

старался убедить себя, что за несколько недель одним своим присутствием и разговорами он сумеет склонить Мэзи к иному, более благоприятному для него, образу мыслей. Но затем он с особенной ясностью припоминал ее лицо и все то, что было написано на нем.

«Если только я смыслю что-нибудь в лицах, – говорил он себе, – то в этом лице есть все, кроме любви. Этот рот и подбородок нелегко покорить. Но она права, она знает, чего она хочет, и она достигнет того, чего хочет. Но какая дерзость! Избрать для этого меня! Именно меня, а не кого-либо другого. Но ведь это Мэзи! Это факт, против которого не поспоришь; а все же хорошо было снова увидеть ее. Как видно, это чувство жило во мне где-то, в самой глубине души, все эти годы... И она использует меня, как я использовал когда-то пьяницу Бина в Порт-Саиде. Она совершенно права. Мне это будет несколько больно. Мне придется ходить к ней по воскресеньям, как молодому человеку, который ухаживает за прислугой, но в конце концов она, наверное, сдастся; а между тем этого рода натура не из уступчивых. Мне будет все время хотеться целовать ее, а придется смотреть ее картины. Я даже не знаю, какого рода ее работы, а мне придется говорить с ней об искусстве. О женском искусстве! А поэтому я особенно и на вечные времена проклинаяю все разновидности искусства. Однажды оно вывезло меня, это правда, но теперь оно стоит мне поперек дороги. Пойду теперь домой и займусь этим самым искусством!»

На полпути к дому Дика поразила вдруг одна ужасная мысль. Ее подсказала ему фигура одинокой женщины среди тумана.

«Она одна в Лондоне с этой рыжеволосой импрессионисткой, у которой, вероятно, желудок страуса, как у большинства рыжих людей. А у Мэзи хрупкое маленькое тельце. Они питаются, вероятно, как все одинокие женщины – едят в любое время и всякий раз с чаем. Я отлично помню, как живут студенты в Париже. Она может заболеть каждую минуту, и я не буду в состоянии помочь ей. О, это в десять раз хуже, чем добыть себе жену!»

В сумерки в мастерскую пришел Торпенгоу и взглянул на Дика глазами, полными той суровой любви, которая рождается иногда между мужчинами, тянущими одну и ту же лямку и впряженными в одно ярмо общественных обычаев, привычек, которых к тому же связывает совместная работа. Это хорошая любовь, которая не только допускает, но даже вызывает сопротивление, ссоры и упреки и самую грубую, но честную откровенность. Такая любовь не умирает, но крепнет и усиливается со временем и не боится никакой разлуки и никакого дурного поведения.

Вручив Торпенгоу трубку мира, Дик продолжал молчать. Он думал о Мэзи и ее вероятных нуждах и потребностях. Для него было ново думать о ком-нибудь, кроме Торпенгоу, который мог и сам о себе подумать. Вот, наконец, нашлось и настоящее применение его деньгам: он мог украсить Мэзи драгоценностями, как дикарку; тяжелое золотое ожерелье на тонкую шейку, золотые браслеты на тоненькие ручки, дорогие перстни на холодные, ничем не украшенные пальчики, которые он только что держал в своей руке. Это была нелепая мысль, потому что Мэзи не хотела позволять ему надеть ей даже и одно простенькое колечко на один только палец и, конечно, посмеялась бы над всеми этими золотыми приманками. Несравненно лучше было бы сидеть спокойно рядом с ней в сумерках, обняв ее шейку рукой и склонив ее головку к себе на плечо, как это подобает молодым супругам. Странно, сегодня сапоги у Торпенгоу скрипели, и его голос был как-то неприятно резок. Брови Дика нахмурились, и он пробормотал какое-то недоброе слово. Его разбирала досада. Свой успех он считал заслуженным по праву, частичной уплатой за все его прежние невзгоды, и вот он встречает преграду на своем пути в лице женщины, которая хотя и признает его успех, но не хочет сейчас же полюбить его.

– Вот что, дружище, – сказал Торпенгоу после двух или трех неудачных попыток завязать разговор. – Скажите мне, не рассердил ли я вас чем-нибудь в последнее время?

– Вы? Меня? Нет!.. Каким образом?

– Так что же, у вас печень не в порядке?

– Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть печень. Я только несколько расстроен... так, вообще. Я полагаю, что это скорее чисто душевное расстройство.

– Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть душа, – сказал Торпенгоу. – И что у вас может быть общего с такой ненужной роскошью, как душа?

– Это случилось само собой. Кто-то сказал, что все мы островки, обменивающиеся между собой ложью через моря недоразумений.

– Кто бы он ни был, кто это сказал, был прав, за исключением недоразумений; между нами их быть не может.

Синеватый дым трубок спускался облаками с потолка.

Помолчав немного, Торпенгоу вкрадчиво спросил:

– Это женщина, Дик?

– Пусть меня повесят, если это нечто, имеющее хотя бы самое отдаленное сходство с женщиной! И если вы начнете говорить подобные вещи, то я найму себе для мастерской крайнее коричневое здание, с украшениями, выкрашенными белой краской, с бегониями и петуниями и гршовыми пальмами в горшках, и вставлю все свои картины в синие, кубового цвета плюшевые рамы, и созову к себе всех женщин, которые охают и вздыхают и щебечут о том, что в их путеводителях именуется искусством, и вы будете принимать их, Торп, в табачного цвета бархатной куртке и желтых штанах при оранжевом галстуке. Нравится вам это?

– Это уже слишком тонко, Дик! Некто не хуже вас отпирался в подобном случае с бранью и проклятиями, и вы пересолили так же, как и он. Это, конечно, не мое дело, а ваше, но все же отрадно сознавать, что где-то под звездным небом для вас готовится жестокая встряска. Ниспошлет ли вам ее небо или ад, я не знаю, но этой встряски вам не миновать, и она хоть немного образумит вас. Вам эта встреча нужна.

Дик вздрогнул.

– Ладно, – сказал он, – когда этот остров от встряски развалится, он позовет вас на помощь.

– И я помогу ему окончательно развалиться. Однако мы болтаем глупости. Пойдемте-ка со мной в театр.

VI

Спустя несколько недель, в очень туманное воскресенье, Дик возвращался парком в свою мастерскую.

– Это и есть, вероятно, та встряска, о которой говорил Торп. Приходится тяжелее, чем я ожидал, но королева не может быть не права! И несомненно, уже есть некоторое представление о живописи.

Он только что был с воскресным визитом у Мэзи, – как всегда, под бдительным взглядом зеленых глаз рыжеволосой импрессионистки, которую он возненавидел с первого взгляда и сознавал это, содрогаясь от чувства жгучего стыда за себя. Каждое воскресенье надевал он свое лучшее платье и спешил в неприглядный и неопрятный дом на северной стороне парка для того, чтобы сперва посмотреть работы Мэзи, а затем произнести над ними свой приговор и дать советы, после того как он убедится, что его советы и указания не пропадут даром. Воскресенье за воскресеньем приходилось ему подавлять в себе каждый сердечный порыв, побуждавший его сорвать поцелуй с уст Мэзи, так как любовь его к ней росла в нем с каждым его посещением, и ему безумно хотелось целовать ее часто и много. Воскресенье за воскресеньем разум, бравший верх над сердцем, предупреждал его, что Мэзи все еще недоступна и что разумнее толковать как можно связнее и спокойнее о великих задачах искусства, которое было для нее дороже всего на свете. Так ему было суждено терпеть неделю за неделей невыносимую пытку в этой жалкой мастерской, приютившейся на задворках душевной маленькой виллы, где ничто никогда не было на месте и куда никто никогда не заглядывал, и он должен был мучиться и глядел, как Мэзи двигалась по комнате с чайником и чашками в руках. Он терпеть не мог чай, но так как это позволяло ему несколько дольше пробыть в присутствии Мэзи, то он пил его с особым усердием, а рыжеволосая девушка сидела несколько поодаль и молча глядела на него, не спуская с него глаз. Она постоянно наблюдала за ним. Раз только, всего один раз она вышла из мастерской, когда Мэзи показывала ему альбом, в который уже были вклеены несколько жалких вырезок из провинциальных газет, поместивших коротенькие отзывы о ее картинах, посланных ею на местные выставки. Дик быстро нагнулся и поцеловал испачканный краской пальчик, лежавший на раскрытой странице.

– О, любимая моя! Возлюбленная моя! – прошептал он. – Неужели ты ценишь эти печатные строки? Брось их в мусорную корзинку!

– Не раньше, чем я получу взамен нечто лучшее, – сказала Мэзи, закрывая альбом.

Тогда Дик, не питавший никакого уважения к своей публике, но чувствовавший глубочайшую привязанность к этой девушке, сознательно предложил ей, чтобы увеличить количество этих столь желанных вырезок, написать за нее картину, под которой она поставит свою подпись.

– Это ребячество, – сказала Мэзи, – какого я не ожидала от тебя. Я хочу, чтобы это была моя работа. Моя, моя, всецело моя!

– Так иди рисовать декоративные медальоны в домах богатых пивоваров; в этой области ты достаточно сильна!

Дик был раздосадован и обозлен.

– Я могу рисовать кое-что и получше медальонов, Дик, – отозвалась она тоном, напомним ему смелые ответы сероглазого атома г-же Дженнет. И Дик готов был теперь унизиться перед ней, но в этот момент в мастерскую вошла рыжеволосая приятельница Мэзи, и он промолчал.

В следующее воскресенье он положил к ногам Мэзи маленькие дары в виде пастельных карандашей, которые только что сами не писали, и краски, и, кроме того, был как-то особенно внимателен ко всем ее текущим работам.

Тут потребовалось подробное изложение его художественного credo, и у Торпенгоу волосы встали бы дыбом на голове, если бы он услышал то красноречие, с каким Дик выкладывал теперь свои убеждения и свой катехизис.

Месяц тому назад Дик сам ужасно удивился бы этому. Но такова была воля и блажь Мэзи, и он усердно вытягивал из самой глубины души заповедные слова, чтобы сделать для нее доступным и понятным все то, что таилось даже от него самого на самом дне его души, те неисповедимые пути, приемы и основы священного искусства, которые он всегда так живо чувствовал и ощущал, но никогда не мог, не умел и не хотел высказать или выразить в словах. Ничуть не трудно сделать что бы то ни было, если только знать, как это делается; но главная трудность заключается в том, чтобы разъяснить и объяснить другому ваше представление, ваше понимание, словом, ваш метод творчества.

– Я мог бы исправить это, если бы у меня в руках была кисть, – сказал Дик, отчаявшись неудачей Мэзи, выписывавшей подбородок, который, по ее словам, никак не хотел принять вид тела. Это был тот самый подбородок, который она уже выскребла однажды. – Но мне кажется почти невозможным научить тебя, как это сделать. В твоём письме есть нечто странное, суровое, голландское, что мне очень нравится; но мне кажется, что у тебя рисунок слаб. Ты всюду даешь ракурс, как будто ты никогда не писала с модели, и, кроме того, ты усвоила себе тяжеловатую манеру Ками – писать тело, точно тесто, в тени, а не на свету. Затем, хотя ты сама того не сознаешь, ты боишься или, вернее, избегаешь тяжелой работы. Почему бы тебе, например, не уделить часть твоего времени одним линиям, исключительно только рисунку? Рисунок не допустит излишних ракурсов, а краски многое скрадывают и нередко какое-нибудь яркое сочное пятно, где-нибудь в углу картины, спасает совсем слабую вещь. Это я хорошо знаю. А это нехорошо, недобросовестно! Поработай над рисунком некоторое время, и тогда я сумею точнее определить твои способности, твои «силы», как имел привычку говорить старик Ками.

Мэзи запротестовала; она не была сторонницей правильного рисунка.

– Я знаю, – сказал Дик, – ты любишь писать фантастические головки с букетом цветов на груди для того, чтобы замаскировать этим плохой рисунок. – При этом рыжеволосая девушка слегка рассмеялась. – Ты любишь писать ландшафты, где скотина ходит в траве выше колена для того, чтобы скрыть этой травой скверный рисунок животных. И это потому, что хочешь сделать больше того, что можешь! У тебя есть несомненное чутье и понимание красок, но при этом у тебя отсутствует форма. Краски – это талант. Оставь их на время, не думай о них, а форму ты можешь усвоить, потому что рисунку можно научиться. Но, видишь ли, все эти твои головки, а некоторые из них даже очень хороши, не продвинут тебя ни на йоту вперед. А изучив рисунок, ты непременно подвинешься или вперед, или назад, и он сразу выявит все твои недостатки и слабые стороны.

– Но ведь другие же... – начала было Мэзи.

– Ты не должна обращать внимания на то, что делают другие люди; если бы их души были твоей душой, то это было бы другое дело. Помни, что для тебя важна только твоя работа, которая одна может спасти или погубить тебя, а следовательно, незачем терять время, оглядываясь на то, что делают другие.

Дик замолчал, и страсть, которую он все время так геройски подавлял в себе, снова вспыхнула в его глазах. Он смотрел на Мэзи, и его взгляд спрашивал ее яснее всяких слов. Не пора ли бросить эту бесплодную забаву с холстами, и указаниями, и советами и без лишних слов соединиться для жизни и любви?

Но этот взгляд остался без ответа.

Мэзи так мило согласилась с новой программой обучения, что Дик едва мог удержаться, чтобы не схватить ее тут же на руки, как ребенка, и не отнести ее в ближайший участок мэрии, где заносятся в книги лица, вступающие в брак. Это беспрекословное, покорное повиновение каждому произнесенному им слову и упорное молчаливое сопротивление его невысказанному,

но хорошо известному ей желанию несказанно возмущали и терзали его душу. Он пользовался несомненным авторитетом в этом доме. Авторитетом, ограниченным, правда, несколькими часами послеполуденного времени, одного дня из семи дней недели, но зато несомненным в течение этого краткого времени. Мэзи привыкла обращаться к нему за советом об очень многих вещах, начиная от упаковки картин при пересылке их в провинцию и кончая средствами избавиться от неудобства дымящего камина. Рыжеволосая же девушка никогда не спрашивала его совета, но не протестовала против его посещений и постоянно наблюдала за ним. Он вскоре убедился, что питались в этом доме нерегулярно и кое-чем, главным образом чаем, консервами и сухарями или печеньем, как он и предполагал еще в самом начале. Предполагалось, что девушки поочередно ходят на базар за закупками, но на самом деле они всецело зависели от разносчицы, и их питание было столь же случайно, как питание молодых галчат или воронят. Мэзи тратила большую часть своих доходов на модели, а ее товарка разорялась на всевозможные принадлежности и аксессуары своего искусства, столь же изысканные и утонченные, сколь сама работа ее была груба и незатейлива. Умудренный дорого доставшимся ему опытом, Дик предупредил Мэзи, что в результате эта полуголодовка подорвет ее силы и лишит ее работоспособности, что несравненно хуже самой смерти. Мэзи приняла это во внимание и стала больше заботиться о своей пище и питье. Когда на него находило уныние, что обыкновенно случалось в долгие зимние сумерки, воспоминание об этом маленьком проявлении домашнего авторитета наряду с вынужденной сдержанностью терзало Дика, как удары плети.

Он понимал теперь, что эти воспоминания будут для него высшим мучением до тех пор, пока в одно прекрасное воскресенье рыжеволосая девушка не объявила, что она намерена написать этюд головы Дика, и что он должен быть добр посидеть тихо и смирно, и затем, немного погодя, добавила – и смотреть на Мэзи. И он позировал ей, потому что неудобно было отказать, и в продолжение целого получаса он припоминал всех людей в своем прошлом, душу которых он раскрывал и обнажал в целях усовершенствования своего искусства. Он вспомнил Бина, особенно отчетливо этого несчастного Бина, который тоже когда-то был художником и постоянно говорил о своем унижении. Простейший, одноцветный грубый набросок головы передавал, однако, подавленное желание, немое обожание, гнетущее ожидание и, главное, безнадежное порабощение этого человека с оттенком едкой насмешки.

– Я куплю у вас этот эскиз, – поспешно заявил Дик, – за ту цену, какую вы сами назначите.

– Моя цена слишком высока, но я полагаю, что вы будете столь же благодарны мне, если я...

И еще не высохший эскиз полетел из рук девушки прямо в огонь камина мастерской. Когда она достала его оттуда, этюд был окончательно испорчен и измазан.

– О, как жаль! – сказала Мэзи. – Я и не видела его. Был он похож?

– Благодарю вас, – пробормотал Дик вполголоса, обращаясь к рыжеволосой девушке, и быстро вышел из мастерской.

– Как этот человек ненавидит меня! – воскликнула она. – И как он любит вас, Мэзи!

– Какие глупости! Я знаю, что Дик очень расположен ко мне, но у него на первом плане его работа точно так же, как у меня моя.

– Да, он очень расположен к вам и, вероятно, знает, что в импрессионизме все же есть нечто такое... Мэзи, да неужели вы не видите?

– Не вижу? Чего я не вижу?

– Ничего; только я знаю, что если бы нашелся человек, который бы смотрел на меня так, как этот смотрит на вас, то я... я, право, не знаю, что бы я сделала. Но он ненавидит меня. О, как он меня ненавидит!

Но она была не совсем права. Ненависть к ней Дика несколько смягчилась чувством благодарности, а затем он совершенно забыл о рыжеволосой девушке, а на душе у него осталось

только мучительное чувство стыда, которое он уносил с собой, когда шел в тумане через парк к своему дому.

– На днях произойдет взрыв! – злобно проговорил он. – Но Мэзи ни в чем не виновата; она права, безусловно права, насколько она понимает, и я не могу порицать ее. Эта история тянется вот уже почти три месяца. Три месяца! А мне стоило десяти годов скитаний и страданий приобрести простейшие, первоначальные понятия о своем деле. Да, это так, но тогда, по крайней мере, меня не истязали так, как меня истязают теперь каждое воскресенье. О, моя возлюбленная маленькая крошка, если мне когда-нибудь удастся сломить тебя, то кому-то очень плохо придется от этого! Нет, этого не будет. Я бы остался и тогда таким же большим безумцем по отношению к ней, какой я теперь. А эту рыжеволосую девушку я отравлю в день моей свадьбы. Она зловредна. А теперь я поделюсь всеми моими настоящими горестями и невзгодами с Торпом.

Торпенгоу был вынужден не раз за это последнее время читать нотации Дик по поводу греха легкомыслия, а Дик слушал его, не возражая ни слова. В течение нескольких недель между первыми двумя-тремя воскресеньями своего искусства Дик бешено приналег на работу, решив доказать Мэзи всю силу своего мастерства. А затем он научил Мэзи не обращать ни малейшего внимания ни на чью работу, кроме ее собственной, и Мэзи последовала его наставлениям, пожалуй, даже слишком строго. Она принимала его советы и пользовалась его указаниями, но нисколько не интересовалась его картинами.

– Твои работы слишком отдают табаком и кровью, – сказала она ему однажды. – Неужели ты не можешь написать ничего другого, кроме солдат?

«Я мог бы написать твой портрет, который поразил бы и удивил тебя», – подумал про себя Дик. Это было незадолго до того, как рыжеволосая девушка подвела его под гильотину. Но он только сказал:

– Я очень сожалею, что мой жанр тебе не нравится.

И в этот вечер он надрывал душу Торпенгоу, проклиная на все лады искусство. А затем, незаметно и в значительной мере даже вопреки своей воле, он как-то перестал интересоваться своей работой. Ради Мэзи и для умиротворения своего собственного чувства самоуважения, которое, как ему казалось, он утрачивал каждое воскресенье, он не хотел сознательно выпустить на рынок плохую работу, неудовлетворительные вещи, но так как Мэзи не нравились даже лучшие его вещи, то всего лучше было вовсе не писать, а только ждать и отмечать этапы от воскресенья до воскресенья.

Торпенгоу был возмущен и огорчен, видя, что неделя проходит за неделей в полном бездействии, и однажды в воскресенье вечером напал на Дика, когда тот был совершенно измучен и изнурен после трех часов непрерывных усилий подавить свою страсть в присутствии Мэзи. Произошел разговор, после которого Торпенгоу удалился, чтобы посоветоваться с Нильгаи, который зашел к нему, чтобы поболтать о континентальной политике.

– Обленился совсем? Стал беспечен и характер неровен? – сказал Нильгаи, выслушав сетования Торпенгоу. – Не стоит сокрушаться об этом; он, наверное, увлекся какой-нибудь женщиной, и та его дурачит.

– А разве это не ужасно?

– Нет, нисколько. Она, конечно, может выбить его из колеи и отбить его на время окончательно от работы; она может даже как-нибудь явиться сюда и закатить ему грандиозную сцену, здесь на лестнице! Как знать! Но до тех пор, покуда Дик не заговорит сам с вами об этом, лучше вам его совсем не трогать. Вы знаете, что это человек с таким темпераментом, с которым нелегко поладить.

– Да. Я желал бы, чтобы он был несколько иным в этом отношении. Он такой забияка, такой своенравный недотрога, что просто беда.

– Со временем вся эта дурь из него выскочит. Он должен понять, что он не может завоевать и покорить весь мир ящиком красок и гладкой кистью. Вы-то, кажется, влюблены в него?

– Я рад был бы взять на себя всякую кару и всякое испытание, которое готовит ему судьба, если бы я только мог; но самое ужасное в том, что ни один человек не может спасти своего ближнего от того, что тому суждено.

– Да, но худшее во всем этом то, что в этой войне не бывает разоружения. Дик должен быть проучен горьким опытом, как и каждый из нас. Кстати, заговорив о войне, можно сказать, что весной на Балканах ожидаются беспорядки.

– Они уж что-то давно ожидают. Хотел бы я знать, не удастся ли затащить туда Дика, когда эти беспорядки начнутся?

Вскоре в комнату вошел Дик, и вопрос этот был предложен ему лично.

– Это для меня недостаточно заманчиво; мне хорошо и здесь, – коротко ответил он.

– Ну, вы, конечно, не принимаете, вероятно, всерьез все то, что пишут о вас в газетах? – сказал Нильгаи. – Мода на вас пройдет менее чем через полгода; публика к тому времени достаточно ознакомится и освоится с вашей манерой письма и станет искать чего-нибудь нового – и тогда, что вас ждет? Где вы тогда будете?

– Здесь, в Англии.

– Это в то время, когда вы могли бы иметь прекрасную работу вместе с нами там, на Балканах? Глупости! Я туда еду, и Кинью тоже будет там, и Торп, и Кассаветти, словом, вся наша братия, и работы будет всем по горло, и бесконечные схватки, стычки и бои, и для вас возможность видеть такие сцены, которые могут создать репутацию трем Верещагиным. Вот что я вам скажу!

– Гм! – промычал Дик, поправляя свою трубку.

– Вы предпочитаете оставаться здесь и воображать, что весь свет глазеет на ваши картины? Да вы подумайте только, как полна жизнь каждого заурядного человека его собственными интересами и удовольствиями. И если наберется тысяч двадцать таких людей, которые найдут время поднять глаза в промежутке между двумя блюдами и промычать сквозь зубы кое-что о том, что их вовсе даже не интересует, в результате получается то, что называется слава, громкая репутация или известность, смотря по тому, какое из этих слов больше нравится читающему.

– Все это я знаю, поверьте, не хуже вас. Поверьте моей смышленности хоть сколько-нибудь.

– Да будь я повешен, если я в нее поверю!

– Ну так и будьте повешены, да вас, вероятно, и повесят там эти обалделые турки, приняв вас за шпиона. Но, уф! Я устал, смертельно устал, и всякая доблесть вылетела из меня!

Дик опустил в ближайшее кресло и через минуту уже крепко спал.

– Это дурной признак, – сказал Нильгаи, понизив голос.

Торпенгоу вздохнул и вынул у Дика изо рта дымившуюся трубку, от которой уже начал тлеть его жилет, и подложил ему под голову подушку.

– Мы ничем не можем помочь! – сказал он. – Дик что старый кокосовый орех – по упорству и скрытности, но я люблю его. А вот и шрам от удара, полученного им тогда в схватке на Ниле.

– Неудивительно, если это несколько повлияло на него, и он чуточку свихнулся.

– А мне это показалось бы весьма удивительным, потому что для помешанного он весьма деловитый и расчетливый человек.

Вдруг Дик яростно захрапел.

– О, нет! Этого никакая любовь не вынесет! Проснитесь, Дик, и ступайте спать в другое место, если вы намерены делать это с таким шумом.

– Я замечал, – пробормотал себе под нос Нильгаи, что коты, прошлявшиеся целую ночь по крышам, обыкновенно спят весь день. Это из области естественной истории.

Дик, спотыкаясь и протирая глаза, удалился, сладко зевая. Ночью ему пришла в голову мысль такая простая и вместе с тем столь блестящая, что он положительно удивлялся, как это она не зародилась у него раньше. Великолепнейшая мысль! Отправиться на неделе к Мэзи, предложить ей маленькую экскурсию за город и увести ее по железной дороге в форт Килинг, в те самые места, где десять лет тому назад они вместе бегали детьми.

– Вообще, – рассуждал он про себя, пробудившись поутру, – не рекомендуется воскрешать старые воспоминания; настоящее в сравнении с милым прошлым вызывает на душе какой-то невольный холодок, и человеку становится грустно; но в данном случае все является исключением из общего правила, и потому мне бояться нечего. Я сейчас же отправлюсь к Мэзи.

К счастью, рыжеволосой девушки не было дома. Она ушла за покупками, а Мэзи, в испачканной красками блузе, билась над своим начатым холстом. Она, видимо, была не особенно довольна его появлением в будний день. Это явилось нарушением условий, и ему понадобилось все его мужество, для того чтобы объяснить ей свою затею и оправдать свое появление в неурочное время.

– Я знаю, что ты слишком много работаешь, – закончил он авторитетным тоном. – Это может только повредить тебе – ты подорвешь свои силы и заболеешь. Тебе гораздо полезнее прокатиться.

– Куда? – спросила Мэзи усталым голосом. Она долго стояла перед мольбертом и сильно утомилась.

– Куда хочешь. Мы сядем в вагон на первый попавшийся поезд и посмотрим, куда он нас привезет. Позавтракаем где-нибудь за городом, а вечером я отвезу тебя домой.

– Если завтра будет хороший, ясный день, я потеряю драгоценное рабочее время, – заметила Мэзи, в нерешительности балансируя тяжелой белой липовой палитрой на руке.

Дик подавил крепкое словцо, просившееся у него с языка. Он все еще не научился терпению с этой девушкой, для которой ее работа была выше всего.

– Ты потеряешь несравненно больше времени, если будешь стараться использовать каждый солнечный час. Переутомление действительно убийственно для работы, много хуже всякой лени. Будь же благоразумна, моя милая. Завтра я заеду за тобой рано, после завтрака.

– Но ты, конечно, пригласишь...

– И не подумаю никого приглашать. Мне нужна только ты одна, и никто другой. А, кроме того, она также ненавидит меня, как я ее. Она даже не пожелает поехать с нами. Итак, до завтра! Моли Бога, чтобы день был солнечный.

Дик ушел в восторге, и по этой причине в этот день ничего не делал. Он подавил в себе дикое желание заказать особый поезд, но купил большую накидку из серого кенгуру, отделанную блестящим черным мехом, и затем погрузился в размышления.

– Я завтра еду на весь день за город с Диком, – сказала Мэзи рыжеволосой девушке, когда та вернулась, усталая и измученная беготней по рынку.

– Он вполне заслужил это, – отозвалась та. – Я завтра прикажу хорошенько вымыть полы в нашей мастерской, пока вас не будет здесь. У нас очень грязно.

Мэзи уже в течение нескольких месяцев не знала ни отдыха, ни развлечений, у ней не было праздничных дней, и потому она предвкушала предстоящую поездку не без удовольствия, но вместе с тем и не без опасений.

«Никто не может быть милее Дика, когда он бывает благоразумен и говорит рассудительно, – думала она, – но я уверена, что он будет непозволительно глуп и станет приставать ко мне с разными глупостями, я же не могу сказать ему решительно ничего такого, что было бы ему приятно и что он желал бы услышать от меня. Если бы он только мог быть рассудителен и благоразумен, я любила бы его гораздо больше».

Глаза Дика сияли радостью, когда он на следующее утро явился к Мэзи и застал ее в сером ульстере и черной бархатной шляпе, ожидающей его уже в прихожей. «Мраморные дворцы, а

не грязные деревянные стены должны были бы служить фоном для такого божества», – подумал Дик, а рыжеволосая девушка втащила ее на минуту в студию и торопливо поцеловала на прощание; брови Мэзи поднялись почти до самых волос при таком необычайном проявлении нежности, к которому она вовсе не привыкла.

– Осторожнее, пощади мою шляпу! – сказала она, спеша уйти, и бегом спустилась с лестницы к Дику, который ждал ее внизу у наемного экипажа.

– Достаточно ли тебе тепло, Мэзи? Ты уверена, что достаточно поела и не чувствуешь голода? Прикрой себе колени вот этой накидкой.

– Благодарю, мне совсем хорошо. Но куда мы едем, Дик? О, Бога ради, перестань напевать, ведь люди подумают, что мы с тобой сумасшедшие...

– Пусть себе думают, если эта работа не повредит им. Они не знают, кто мы, а я уж, во всяком случае, нисколько не интересуюсь тем, кто они. Честное слово, Мэзи, ты очаровательно мила!

Мэзи смотрела прямо перед собой и не ответила ни слова. Свежий утренний ветерок ясного морозного зимнего утра вызвал легкий румянец на ее щеках, а над их головами бледнопалевые облачка дыма таяли одно за другим на фоне бледно-голубого неба, и беззаботные воробушки, срываясь стайками с водосточных труб или телеграфных проводов, громко чирикали о приближении весны.

– За городом погода будет превосходная, – заметил Дик.

– Но куда же мы едем?

– Подожди, увидишь.

Они приехали к вокзалу, и Дик отправился за билетами.

Одну секунду у Мэзи, удобно расположившейся у камина в зале для пассажиров, мелькнула мысль, что гораздо приличнее было бы поручить носильщику или рассыльному взять билеты, чем проталкиваться самому к кассе сквозь толпу. Дик усадил ее в большом пульмановском вагоне 1-го класса потому только, что здесь было тепло; а она взглянула на эту излишнюю роскошь удивленными, серьезными, почти строгими глазами, в то время как поезд уносил их за город.

– Я желала бы знать, куда мы едем? – повторила она уже чуть ли не в двадцатый раз. Но вот хорошо знакомое ей название станции промелькнуло у нее перед глазами в тот момент, когда поезд стал подъезжать к ней, и Мэзи поняла наконец.

– О Дик, дрянной, негодный мальчик!

– Ага! Я так и знал, что ты будешь рада увидеть эти места! Ведь ты не была здесь с тех пор?

– Нет. Я никогда не имела желания повидать миссис Дженнет, а, кроме нее, тут ничего не было.

– Не совсем так. Взгляни сюда, в эту сторону: видишь, вот там ветряная мельница на картофельном поле; здесь еще не настроили вилл на каждом шагу. Помнишь ты, как я запер тебя в этой мельнице?

– Да, и как она тебя била тогда за это! Я ей так и не сказала, что это сделал ты.

– Но она догадалась. Я сунул палку под дверь и сказал тебе, что хороню заживо Амому, и ты поверила мне. Ты была доверчива в то время.

И оба они рассмеялись и высунулись в окно, чтобы видеть знакомые места, вызывавшие в них множество воспоминаний. Дик уставился своим жадным горячим взглядом на щеку Мэзи, находившуюся теперь так близко от его щеки, и внимательно следил, как кровь прилиwała к ней под тонкой прозрачной кожей. И мысленно он поздравлял себя с удачной мыслью и рассчитывал, что этот вечер вознаградит его за многое.

Когда поезд остановился, то они вышли из вагона и совершенно новыми глазами взглянули на старый и хорошо знакомый им городишко. Прежде всего, они посмотрели издали на дом миссис Дженнет.

– Предположим, что она бы вышла сейчас и увидела нас, – сказал Дик. – Что бы ты сделала? – спросил он с напускным ужасом.

– Я сделала бы ей гримасу.

– Ну-ка, покажи какую, – подхватил Дик, невольно впадая в прежний ребячий тон.

И Мэзи скорчила страшную рожу по адресу жалкой маленькой виллы, а Дик громко и весело рассмеялся.

– Это непристойно! – сказала Мэзи, передразнивая миссис Дженнет. – Мэзи, вы сейчас же отправитесь домой и выучите мне наизусть тропари, молитвы, Евангелие и послание на три последующие воскресенья! Дик всегда учит вас всяким глупостям и шалостям... Если ты не джентльмен, Дик, то ты мог, по крайней мере... – и на этом фраза вдруг оборвалась. Мэзи вспомнила, когда и при каких обстоятельствах эти слова были произнесены в последний раз, и замолчала.

– ...Постараться вести себя как джентльмен, – проворно договорил за нее Дик. – Совершенно верно! Ну а теперь мы позавтракаем хорошенько и отправимся к форту Килинг, если только ты не предпочтешь поехать туда в экипаже.

– Нет, мы должны пройти пешком из уважения к этому месту. Как мало все здесь изменилось!

И они направились к морю по знакомым, совсем неизменившимся улицам, невольно поддаваясь настроению далекого прошлого. Вот они проходят мимо кондитерской, которую они некогда удостаивали большим вниманием, в ту пору когда их соединенные фонды достигали крупной суммы – один шиллинг в неделю.

– Дик, есть у тебя несколько пенни? – спросила Мэзи скорее про себя.

– Только три; и если ты воображаешь, что отдам тебе из них два для покупки пеперментов, то ты весьма ошибаешься. Кроме того, ты знаешь, что она говорит, что есть пеперменты для барышни неприлично!

И оба они весело рассмеялись, и снова краска прилила к щекам Мэзи, и кровь заклокотала в жилах счастливого Дика и прилила ему к сердцу. Сытно позавтракав, они пошли на берег, к форту Килинг, через большой пустырь, на котором свободно разгуливал ветер и который никто не считал нужным использовать для постройки. Свежий зимний ветер дул с моря и со свистом пронесился мимо них.

– Мэзи, – сказал Дик, – кончик твоего носа становится цвета чистой берлинской лазури! Держу пари на что угодно, что я тебя обгоню на каком угодно расстоянии!

Она осторожно оглянулась и, смеясь, пустилась бежать так быстро, как только ей это позволял ее длинный серый ульстер, и бежала, пока не запыхалась.

– А ведь мы, бывало, бежали целые мили, – проговорила она, с трудом переводя дыхание. – Как это глупо, что теперь мы уже не можем так бегать!

– Старость, дорогая моя. Вот что значит ожиреть и облениться в городе. Когда я, бывало, хотел дернуть тебя за волосы, ты бежала целых три мили, визжа во весь голос. Это я хорошо помню, потому что твои крики должны были привлечь внимание миссис Дженнет, которая появлялась вооруженная палкой и...

– Полно, Дик, я никогда умышленно не подводила тебя под наказание и ни разу в жизни не накликала на тебя побоев.

– Нет, никогда. Но, Боже мой, взгляни, какое море!

– О да, оно совершенно такое же, как всегда, – сказала Мэзи.

* * *

От мистера Битона Торпенгоу узнал, что Дик, побрившись я принарядившись, ушел в половине двенадцатого из дома с дорожным пледом на руке. В полдень зашел Нильгаи поболтать и поиграть в шахматы.

– Дело обстоит даже хуже, чем я воображал, – сказал Торпенгоу.

– О, это уж опять этот вечный Дик! Вы дрожите над ним и возитесь с ним, как насадка над единственным цыпленком. Пусть себе побеснуется, если это доставляет ему удовольствие; вы можете исправить молодого щенка, выпоров его как следует, но вы равным счетом ничего не добьетесь, если выпорете молодого вертопраха.

– Дело в том, что тут не женщины, а одна женщина, и что еще хуже – девушка!

– А где у вас доказательства?

– Он встал и вышел из дома в восемь утра сегодня. Кроме того, он вставал среди ночи, чего он никогда не делает, видит Бог, кроме самых экстренных случаев, когда того требует от него долг службы, и то вы, вероятно, помните, что нам пришлось пинками выгонять его из кровати в ту достопамятную ночь, когда происходило сражение под Эль-Магрибом. Это положительно возмутительно.

– Да, скверная история; но, может быть, он наконец решил купить лошадь и встал так рано ради этого; разве это невозможно?

– Купить лошадь? Уж скажите лучше огненного дракона! Если бы дело шло о лошади, он бы сказал нам об этом. Нет, тут замешана девушка.

– Не будьте столь уверены. Возможно, что это замужняя женщина.

– Дик не лишен ума и сметливости. Кому придет фантазия просыпаться ни свет ни заря, чтобы нанести визит чужой жене? Это девушка, говорю я вам.

– Ну, пусть будет девушка. Может быть, она сумеет дать ему понять, что не только он один на свете, что кроме него есть еще и другие люди.

– Она испортит его кисть. Она станет отнимать у него драгоценное рабочее время, отобьет его совершенно от работы и в конце концов женит его на себе и навсегда убьет его талант. И прежде чем мы успеем его остановить, он превратится в почтенного приличного супруга и отца семейства и никогда больше не выйдет на широкую дорогу свободного искусства.

– Все это весьма возможно, но земля не станет вращаться в обратном направлении от того, что это случится... А я бы дорого дал за то, чтобы посмотреть, как Дик ухаживает наравне с другими парнями! Не сокрушайтесь об этом, Торпенгоу. Такие вещи во власти Аллаха, и нам остается стоять и смотреть. Ну, берите эту пешку!

* * *

Рыжеволосая девушка лежала у себя в комнате на постели и смотрела в потолок. Шаги прохожих на улице звучали, замирая в отдалении, как много раз повторенный поцелуй, слившийся в один долгий-долгий поцелуй. Руки ее, вытянутые вдоль тела, время от времени судорожно сжимались и разжимались.

Поденщица, которой было поручено вымыть полы и окна в студии, постучалась в дверь.

– Прошу извинения, мисс, но для мытья полов есть три сорта мыла, желтое, синее и дезинфицирующее, так вот, я подумала, прежде чем идти к вам сюда наверх с ведром, что лучше сперва спросить вас, каким мылом вы желаете, чтобы я мыла ваш пол. Желтым мылом, мисс?

В словах и манере этой женщины не было решительно ничего такого, что могло вызвать порыв бешенства у рыжеволосой девушки, которая, однако, сорвалась с кровати и кинулась на середину комнаты, крича чуть не с пеной у рта:

– Что же вы думаете, что мне очень интересно, каким вы мылом будете мыть пол!.. Мойте каким хотите! Каким хотите, вы слышите?!

Женщина поспешила убраться подобру-поздорову, а рыжеволосая девушка взглянула на себя в зеркало и поспешно закрыла свое лицо руками, как будто она только что увидела в нем какую-то позорную тайну.

VII

В самом деле, море не изменилось. Вода стояла, как всегда, низко на болотистой отмели, и колокол на Маразионском бакене тихо покачивался на волнах прилива. Сухие стебли морского мака на белом песке отмели шуршали и вздрагивали от ветра.

– Я не вижу старой сваи у бурунов, – сказала Мэзи вполголоса.

– Будем благодарны и за то, что нам осталось, – отозвался Дик. – Я не думаю, чтобы поставили на форте хоть одно новое орудие с тех пор, как мы уехали отсюда. Пойдем посмотрим.

Они подошли к самому валу форта Килинг и сели в уголке, защищенном от ветра, под неуклюжим жерлом старой сорокафунтовой пушки.

– Если бы еще и Амomma была здесь, – промолвила Мэзи, и затем они долго молчали.

Потом Дик осторожно взял ручку Мэзи и ласково произнес ее имя.

Она тихонько отняла свою руку и продолжала смотреть вдаль, на море.

– Мэзи, дорогая, неужели в тебе не произошло никакой перемены? Неужели ты ничего не можешь мне сказать?

– Нет, – произнесла она сквозь плотно сжатые зубы. – Я бы... Я бы сказала тебе, если бы во мне что-нибудь изменилось... Но нет. О, Дик, прошу тебя, будь благоразумен и рассудителен.

– И ты не думаешь, что это когда-нибудь случится?

– Нет, я уверена, что этого никогда не будет.

– Почему?

Мэзи подперла рукой подбородок и, продолжая глядеть на море, заговорила с нервной поспешностью:

– Я прекрасно знаю, чего ты хочешь, но я не могу дать тебе этого, Дик. Но я, право, не виновата в том, что не могу дать тебе того, чего ты от меня ждешь, право, не виновата. Если бы я чувствовала, что могу полюбить кого-нибудь... Но нет, я этого совершенно не чувствую. Я не понимаю даже, что это за чувство.

– И это правда, дорогая?

– Ты был всегда-всегда очень добр ко мне, Дик; и единственное, чем я могу отблагодарить тебя, это правдой. Я не смею солгать тебе, Дик, я и так уже достаточно презираю себя.

– За что, Боже правый! За что?

– За то, что я беру все, что ты даешь мне, и ничего не даю тебе взамен. Это низко, подло и эгоистично с моей стороны, я это осознаю, и это мучает меня ужасно.

– Так пойми раз навсегда, что я сам могу позаботиться о себе, и что никто меня не заставляет делать то, что я делаю, и если я хочу что-либо делать для тебя, то ты в этом не виновата и тебе не в чем упрекать себя, дорогая.

– Нет, я знаю, что есть, но говорить об этом особенно тяжело.

– Ну так не говори.

– Но как же я могу не говорить, если всякий раз, когда ты случайно остаешься хоть на минуту наедине со мной, ты сейчас же начинаешь говорить об этом, а если не говоришь, то смотришь на меня так, что я читаю все тот же вечный вопрос в твоих глазах? Ты не знаешь, до какой степени я иногда презираю себя!

– Боже мой! – воскликнул Дик, чуть не вскочив на ноги. – Скажи мне правду, Мэзи, даже если ты после этого никогда больше не скажешь мне ни одного слова правды! Надоел я или надоело тебе это мое постоянное ожидание и напоминание, хотела бы ты избавиться от того и другого?

– О нет, нет!

– Ты сказала бы мне, если бы надоело?

– Я дала бы тебе понять, я думаю.

– Благодарю. А это другое – настоящая фатальность. Ты должна научиться прощать человеку, который тебя любит. Он неизбежно делается навязчив и надоедлив. Это тебе должно быть уже известно?

Мэзи не сочла нужным ответить на последний вопрос, и Дик был вынужден повторить его еще раз.

– Были, конечно, и другие мужчины; и они всегда надоедали мне и раздражали меня как раз в самый разгар моей работы и требовали, чтобы я слушала их.

– И ты их слушала?

– Сначала да; и они никак не могли понять, почему я никого не люблю; и они имели привычку хвалить мои картины; и вначале я думала, что они действительно нравились им, и я гордилась их похвалой, и говорила о том Ками, и однажды, – я никогда этого не забуду, – однажды, помню, Ками рассмеялся и стал высмеивать меня.

– А ты не любишь, чтобы над тобой смеялись, Мэзи, не правда ли?

– Я это ненавижу! Я сама никогда ни над кем не смеюсь и никого не высмеиваю, кроме тех случаев, когда они принимают свою плохую работу за хорошую; скажи мне честно, Дик, прошу тебя, что ты думаешь о моих картинах вообще, о всех тех моих работах, какие ты видел.

– По чести! По чести!.. Честь выше всего! – процитировал Дик старинную поговорку. – Прежде скажи мне, что говорит о них Ками.

Мэзи колебалась.

– Он говорит... да, он говорит, что в них есть чувство, – сказала она наконец.

– Как смеешь ты мне так нагло лгать! Вспомни, что я два года работал у Ками. Я хорошо знаю все, что он говорит.

– Это не ложь.

– Это хуже лжи – это полуправда. Склонив голову немного набок, вот так, Ками говорит: «Il y a du sentiment, mais il n'y a pas de parti pris», – и он раскатисто прокартавил г, как это делал Ками.

– Да, он именно это говорил; и я начинаю думать, что он прав.

– Конечно, он прав! – Дик признавал, что только два человека в мире не могли ни думать, ни поступать неправильно, и один из них был Ками.

– А теперь вот и ты говоришь то же самое. Это так обескураживает.

– Мне очень жаль, но ты просила меня сказать тебе правду. И, кроме того, я слишком люблю тебя, чтобы лицемерить. Иногда в твоих работах бывает видно терпение, настойчивость и, впрочем, далеко не всегда, иногда даже видно дарование, но положительно никогда не видно, зачем, собственно, вообще была сделана эта работа, ради чего и с какой целью писана данная картина. Вот, по крайней мере, то впечатление, которое производят на меня твои работы.

– Мне кажется, что и вообще нет никакого специального основания делать что-либо в мире. И это ты знаешь так же хорошо, как я. Я хочу только одного – успеха!

– В таком случае ты идешь не тем путем, каким следует идти, чтобы добиться успеха! Разве Ками никогда не говорил тебе этого?

– Не ссылайся все время на Ками. Я хочу знать, что ты думаешь. Начнем с того, что моя работа плоха.

– Я этого не сказал и не думаю этого.

– В таком случае, она, так сказать, любительская.

– Уж это ни в коем случае. Ты серьезный профессионал, дорогая моя, профессионал до мозга костей, это я уважаю в тебе.

– Ты не смеешься надо мной, у меня за спиной?

– Нет, дорогая! Ведь ты знаешь, что ты мне милее всего на свете. Надень на себя эту накидку, не то ты озябнешь.

Мэзи послушно завернулась в мягкий мех, вывернув накидку серым мехом наружу.

– Это восхитительно, – сказала она и задумчиво потерлась подбородком о нежный мех. – Ну, скажи мне, почему я не права, стараясь добиться успеха?

– Ты уже не права тем, что стараешься. Неужели ты этого не понимаешь, дорогая? Хорошая работа ничего общего с таким старанием не имеет; хорошая работа дается путем усилий того, кто ее делает; она, так сказать, приходит извне, создается сама собой, независимо от художника или художницы.

– Но каким же образом?

– Подожди минуту, я тебе сейчас скажу. Все, что мы можем сделать, это научиться как следует работать, стать господами над красками, кистями и работой, а не их рабами, научиться владеть ими свободно, и заставить кисть и краску слушаться нас, и никогда никого и ничего не бояться.

– Понимаю.

– Все остальное приходит само собой, помимо нас. Хорошо. И если мы станем спокойно вырабатывать и вынашивать наши представления, посланные нам свыше, и станем передавать их, как умеем, на холсте, с помощью нашего искусства, то в результате может получиться, а может и не получиться, недурная работа. Тут многое зависит от того, насколько мы овладели ремеслом, то есть его технической стороной, дающей нам возможность передать все, что мы чувствуем, и передать именно так, как мы чувствуем. Но с того момента, как мы начинаем думать об успехе или о том впечатлении, какое может вызвать наша работа, то есть поглядывать одним глазком на галерку, – мы тотчас же утрачиваем и искру Божию, и вдохновение, и все остальное. По крайней мере, я постоянно испытывал это на себе. Вместо того чтобы быть совершенно спокойным и всецело отдавать работе все свое дарование, все свои силы и способности, все свои помыслы, словом, все, что в нас есть, ты расходуешь себя по пустякам, думаешь и заботаешься о том, чего ты не можешь ни создать, ни отстранить ни на минуту. Понимаешь ты меня?

– Тебе легко теперь говорить в таком духе. То, что ты пишешь, нравится публике. Неужели ты никогда не поглядываешь на галерку?

– Даже слишком часто поглядываю, но я всегда бываю наказан за это тем, что теряю всю силу творчества. Это так же просто, как тройное правило. Когда мы начинаем легко и пренебрежительно относиться к нашей работе, позволяя себе смотреть на нее, как на средство для достижения наших посторонних целей, тогда наша работа платит нам тем же, и так как сила на ее стороне, то страдаем мы!

– Я не отношусь пренебрежительно к своей работе; ты знаешь, что для меня работа – это все!

– Да, конечно, но сознательно или бессознательно, а ты все же разбрасываешься. Из трех мазков два мазка ты кладешь ради успеха, то есть ради своекорыстной цели, и только один ради интересов самой картины или ради святого искусства. Ты не виновата в том, дорогая. Я делаю то же самое и сознаю, что делаю это. Большинство французских школ и все здешние заставляют своих учеников работать ради своей репутации и своего честолюбия. Мне говорили, что весь мир интересуется моей работой, и я добродушно и искренне верил, что мир нуждается в моей мазне, что я призван возродить и облагородить мир своей кистью, и всякой подобной дерзости. Клянусь Богом, я действительно верил этому! И когда моя жалкая башка готова была треснуть от грандиозных замыслов, которые я не мог осуществить и воплотить, потому что я не владел достаточно своим ремеслом, то я слонялся по улицам и дивился своему собственному величию и готовился удивить весь мир.

– Но я уверена, что это бывает иногда возможно.

– Да, но очень редко преднамеренно. И когда это бывает, то оказывается, что весь этот громадный пуф так ничтожен, а весь мир так велик, что только одна миллионная часть людей знает об этом, все же остальные совершенно безучастны к тебе. Мэзи, пойдем со мной, и я покажу тебе нечто, почти столь же великое, как мир. Не работать нельзя, как нельзя не есть, это само собой, но старайся увидеть то, ради чего ты работаешь. Я знаю такие места, такие уголки земного рая, куда я мог бы увезти тебя: прекрасные острова, там, за экватором, которые ты увидишь лишь после долгих лет странствований и скитаний по морю, черному, как черный мрамор, из-за его страшной глубины, и, сидя день за днем на носу парохода, ты будешь видеть величественный восход солнца, как бы испуганного безлюдьем пустынного моря.

– Кого же пугает это безлюдье – солнце или тебя?

– Разумеется, восходящее солнце, которое не видит ничего перед собой, кроме безбрежной водной пустыни. А между тем там, под водой, слышится смутный шум, поднимающийся со дна моря, и высоко над головой тоже реют звуки в ясной небесной лазури. И вот ты видишь остров, усеянный причудливыми влажными орхидеями, которые раскрыли рты от изумления при виде тебя, орхидеями, которые, кажется, могут выразить все на свете, но только не могут говорить. Там есть и водопад в триста футов вышиною, точно зеленая полоса с серебряной каймой; миллионы диких пчел роятся там в скалах, и слышно, как с деревьев грузно падают на землю тяжелые, мясистые кокосовые орехи; ты приказываешь белому, как слоновая кость, слуге повесить длинный желтый гамак с кистями, похожими на спелый желтый маис, ложишься в него и слушаешь, как жужжат пчелы и шумит водопад, пока не заснешь.

– И там можно работать?

– Разумеется. Что-нибудь делать всегда нужно; ты развешиваешь свои полотна на пальмах и предоставляешь попугаям критиковать их, а когда они начинают ссориться и драться, ты запускаешь в них спелым яблоком, которое лопается и разлетается мелкими брызгами... Так что, есть сотни чудных мест на белом свете! Едем со мной, и ты увидишь их.

– Мне не совсем нравится этот остров... судя по твоим рассказам, там должна царить лень. Расскажи мне о каких-нибудь других странах.

– Ну а как тебе понравится, громадный красный мертвый город, построенный из красных кирпичей, с мясистыми зелеными агавами, проросшими между камней, затерянный среди медово-желтых песков бескрайней пустыни? Там покоятся сорок усопших королей в сорока великолепных гробницах, одна великолепнее другой. Ты смотришь на все эти дворцы, улицы, лавки, водоемы и думаешь, что здесь живут люди, до тех пор пока не увидишь чахлую серенькую белку, которая преспокойно чистит свою мордочку посреди большой торговой площади, и величавого павлина, важно выступающего из-под лепной арки и развертывающего свой пышный чудный хвост на фоне мраморной ограды, ажурной и изящной, как старинное кружево. А там дальше маленькая черненькая обезьянка перебирается через центральный сквер к глубокому колодцу напиться. Она осторожно спускается по желтому плещу до уровня воды, а товарка держит ее за цепкий хвост на случай, если она оборвется.

– И все это правда?

– Я сам там был и видел. А когда наступает вечер, свет меняется так фантастически причудливо, что тебе кажется, что ты стоишь в самой сердцевине царственного опала. Незадолго до заката, всегда в одно и то же время, как будто по часам, в городские ворота грузной трусцой вбегает громадный щетинистый дикий кабан со всей своей семьей, по пути стряхивая пену со своих длинных кривых клыков. Тогда ты взбираешься проворно на плечи к одному из слепых черных каменных божеств на площади и наблюдаешь, как матерый кабан избирает себе для ночлега тот или другой безмолвный, но величественный дворец и забирается в него, помахивая своим крючковатым хвостом. Тогда поднимается ночной ветер, и пески поднимаются и движутся, и ты слышишь, как пустыня, непосредственно прилегающая к городу, поет: «Теперь я лягу и усну...» И все кругом погружается во мрак до тех пор, пока не взойдет луна. Мэзи,

дорогая моя, поедem со мной, и ты увидишь, каков на самом деле свет. Мир так прекрасен и так отвратителен в одно и то же время, но я не покажу тебе ничего отвратительного, ему нет дела ни до твоей, ни до моей жизни, ни до наших картин; он делает свои дела и порождает любовь, и мы, со своей стороны, можем не думать ни о чем, кроме нашей работы и любви. Поедем, я научу тебя варить сунгари и подвешивать гамак, и... тысяче разных вещей, и ты сама увидишь и поймешь, что такое краски; и мы познаем любовь, и тогда создадим, может быть, что-нибудь действительно прекрасное. Поедем!

– К чему?

– Как можешь ты создать что-либо, пока не видела всего или, по крайней мере, всего, что ты могла бы видеть! А кроме того, я люблю тебя и потому зову тебя – поедem со мной, здесь тебе делать нечего; ты здесь не дома; ты наполовину цыганка, это видно у тебя по лицу, а меня даже сам воздух открытого моря манит и волнует... Умчимся за моря и будем счастливы!

Он поднялся на ноги и стоял подле старой пушки, глядя вниз на сидевшую у его ног девушку. Короткий зимний день угас, и, прежде чем они успели спохватиться, светлая зимняя луна всплыла над спокойным морем. Длинные извилистые серебристые полосы обозначились там, где начавшийся прилив набегал на болотистую отмель. Ветер стих, и среди невозмутимой тишины слышно было, как неподалеку чей-то осел щипал мерзлую траву. Слабый звук, похожий на заглушенный бой барабана, доносился из лунного тумана.

– Что это такое? – быстро спросила Мэзи. – Точно сердце бьется... Где это?

Дик был так разозлен этим уклонением от ответа на его сердечную мольбу, что он не сразу решился ответить на ее вопрос. Мэзи с некоторым страхом следила за выражением его лица. Она так страстно желала, чтобы он был благоразумен и не мучил ее этими заморскими впечатлениями, которые она в одно и то же время и понимала и не могла понять. Никакой перемены в его лице она не ожидала.

– Это пароход, – сказал он наконец, – двухвинтовой пароход, судя по звуку. Я не вижу его, но, вероятно, он стоит очень близко от берега. Ага! – воскликнул он в тот момент, когда красноватый огонь ракеты прорезал туман. – Он подает сигнал перед тем, как выйти из канала.

– Что это, крушение? – спросила Мэзи, ничего не понимавшая в этих вещах.

– Что за вздор! Он просто дает знать о себе. Красная ракета с носовой части, а вот и два зеленых огня на корме и еще две красных ракеты с мостика.

– Что же это значит?

– Это сигнал компании «Южный Крест». Пароходы, отправляющиеся в Австралию... Но какой же это может быть пароход?

Голос его заметно изменился. Он как будто говорил сам с собой, и это не понравилось Мэзи. На мгновение луна прорезала туман и скользнула по черным бортам длинного парохода, движущегося вниз по каналу.

– Четыре мачты и три трубы... и, как видно, полная осадка... это должен быть «Барралонг» или «Бутия»... Нет, у «Бутии» нос как у клипера; это «Барралонг», идущий в Австралию; через неделю они увидят Южный Крест... Эх, старое корыто, как я тебе завидую!

И, не спуская глаз с парохода, он взошел на вал форта, чтобы лучше разглядеть его, но туман сгустился и скрыл его от глаз, а удары винта становились все слабее и слабее. Мэзи окликнула его несколько раздражительно, и он обернулся к ней, не отрывая глаз от моря.

– Видела ли ты когда-нибудь Южный Крест, сияющий прямо у тебя над головой? – спросил он. – О, это так великолепно!

– Нет, – коротко отрезала она, – и не имею никакого желания, но если ты находишь, что это так великолепно, то почему ты не отправишься сам любоваться им?

И она подняла к нему свое лицо, обрамленное блестящим черным мехом дорогих соболей, и глаза ее горели, как звезды, а серебристый мех кенгуру, освещенный луной, походил на слиток серебра, подернутого морозом.

– Клянусь честью, Мэзи, ты походишь сейчас в этих мехах на маленького языческого божка! – По глазам девушки было видно, что комплимент не пришелся ей по вкусу. – Мне очень жаль, – продолжал Дик, – но, право, Южный Крест не заслуживает особого восторга, кроме тех случаев, когда подле вас есть кто-нибудь, кто помогает вам восторгаться им. А парохода уже и не слышно.

– Дик, – сказала она очень спокойно, – предположим, что я теперь пришла бы к тебе, – постарайся быть спокойным минутку, – такая, как я есть, не любя тебя ни на йоту больше, чем до сих пор.

– Но не как брата, все же? Ведь ты же говорила, что ты не чувствуешь ко мне братской любви, – помнишь, в парке?

– У меня нет и никогда не было брата, Дик, но предположим, что я сказала бы тебе: «Увези меня с собой туда, и, быть может, со временем я действительно по-настоящему полюблю тебя...» Что бы ты сделал?

– Я отправил бы тебя на извозчике домой. Но ты бы этого не сделала, и ничего бы такого не было. Ты стоишь того, чтобы тебя подождать до тех пор, когда ты сможешь прийти и отжаться без оговорок.

– И ты действительно веришь в это?

– У меня какое-то туманное предчувствие, что это будет так; неужели тебе самой это никогда не представлялось в таком виде?

– Дд-а-а... Но я чувствую себя такой недостойной, такой дурной...

– Более дурной, чем обыкновенно?

– Ты не знаешь всего, что я думаю. Это настолько ужасно, что почти невозможно сказать.

– Ничего. Ведь ты же обещала говорить мне правду.

– Да, но это так неблагоприятно с моей стороны, и, хотя я знаю, что ты любишь меня, и я сама люблю иметь тебя подле себя, я... я могла бы, мне кажется, пожертвовать даже тобой, если бы этой ценой я могла достигнуть того, чего я хочу.

– Бедная моя маленькая возлюбленная! Я знаю и понимаю такое состояние души; но, увы, оно не ведет к успеху и не способствует хорошей работе!

– Ты не сердишься? Знай только, что я сама презираю себя за это.

– Я, конечно, нельзя сказать, чтобы польщен, но я предполагал нечто подобное и не сержусь. Мне даже жаль тебя. Ты должна была давно отогнать от себя подобное ребяческое чувство...

– Ты не имеешь права покровительственно относиться ко мне! Я хочу только того, ради чего я столько лет работаю, чего я так давно и так упорно добиваюсь. Тебе это досталось так легко, без всякого труда, и... мне кажется, что это несправедливо...

– Но что я могу сделать? Я отдал бы десять лет своей жизни, чтобы доставить тебе то, чего ты хочешь. Но я ничем не могу помочь тебе; даже я не могу тебе помочь.

Мэзи что-то ворчливо пробормотала, а он продолжал:

– А из твоих слов я вижу, что ты на ложном пути, что такой образ мыслей не ведет к успеху. Успеха достигают, не жертвуя другими, а только жертвуя собой. Это мне вколотили крепко в душу. Нужно отречься от себя, отказаться от своей воли, не думать никогда о себе, никогда не чувствовать удовлетворения от своей работы, кроме тех первых часов, когда у тебя появляется сама идея работы.

– Как ты можешь верить всему этому?

– Тут не может быть вопроса верить или не верить. Это святой закон, и его надо или принять, или отвергнуть. Если я стараюсь ему покоряться, но не могу, тогда моя работа становится негодной. Помни, что при каких бы то ни было условиях четыре пятых работы каждого человека неизбежно должны быть плохи, но остальная стоит труда, и ради этой одной пятой можно и должно неустанно работать.

– А разве не приятно получать похвалы даже и за плохие работы?

– Пожалуй, даже и слишком приятно, но... позволь мне сказать тебе нечто, хотя это не особенно подходящий для женского слуха рассказ, но ты ведь так похожа на мужчину, что я часто забываю, говоря с тобой, что ты женщина.

– Так говори же.

– Однажды, когда я был в Судане, я проходил по полю, на котором мы, дня три тому назад, дрались; там полегло около тысячи двухсот человек, и мы еще не успели их похоронить.

– Какой ужас!

– Я работал тогда над большим наброском в два листа, и думал при этом, как-то к нему отнесется публика здесь, в Англии. Вид этого поля, усеянного мертвецами, научил меня многому. Оно очень походило на гряду отвратительных ядовитых грибов... Мне никогда до того времени не приходилось видеть, как люди массами превращались в прах, и вот я вдруг понял, что мужчины и женщины не что иное, как материал, над которым можно работать, и что то, что они говорят или делают, в сущности, не имеет значения. Строго говоря, ты с таким же успехом могла бы приложить ухо к своей палитре и прислушаться к тому, что говорят твои краски.

– Дик, как тебе не стыдно!

– погоди; ведь я сказал – строго говоря. Но, к сожалению, каждый человек должен быть либо мужчиной, либо женщиной.

– Я рада, что ты допускаешь хоть это.

– Что касается тебя, то я и этого не допускаю. Ты не женщина, но обыкновенным людям приходится считаться с этим, и это меня бесит. – При этом он швырнул ногой камень в море. – Я знаю, что совершенно не моя задача – думать или беспокоиться о том, что скажут люди, и я вижу, что когда я прислушиваюсь к суждению толпы, я этим наношу большой вред моей работе. И все же, черт бы их всех побрал!.. – и еще один камень полетел в море. – Я не могу удержаться, чтобы не мурлыкать, когда меня гладят по шерстке. Даже когда я по лицу человека вижу, что он лжет и в целях своих маленьких выгод ублажает меня сладкими речами, эта ложь доставляет мне удовольствие и коверкает мою работу.

– Ну а когда он не ублажает тебя сладкими речами?..

– Тогда, дорогая моя, – Дик засмеялся, – я забываю, что я слуга этих господ, и готов палками заставить их любить меня и восхищаться моей работой. Это верх унижения, но я полагаю, что если бы ангел писал людей с натуры, то и он в такой же мере утрачивал бы свое искусство, в какой прислушивался бы к похвале.

Мэзи рассмеялась при мысли о Дике в образе ангела.

– Но ты, по-видимому, думаешь, – сказала она, – что всякий успех и похвала вредят работе.

– Я не думаю, это закон вещей; я очень рад, что ты так ясно поняла это.

– Но это мне не нравится.

– И мне также. Но ничего не поделаешь. Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы в одиночку помериться силами с этим неумолимым законом?

– Мне кажется, что мне придется найти в себе эти силы.

– Позволь мне помочь тебе, дорогая, позволь мне поддержать тебя! Мы можем крепко обнять друг друга и стараться вместе идти прямо, не сворачивая в сторону. Мы, может, будем жестоко блуждать, но все же это будет лучше, чем спотыкаться и падать в одиночку. Мэзи, неужели ты не осознаешь этого?

– Я не думаю, чтобы мы поладили с тобой. Мы были бы те два медведя, которые в одной берлоге не уживаются.

– Желал бы я встретить того человека, который придумал эту поговорку! Он, вероятно, сам жил в берлоге и ел сырую медвежатину.

– Я, вероятно, была бы только наполовину тебе женой. Я постоянно думала бы и заботилась больше о своей работе, чем о тебе, как я это делаю и теперь. Четыре дня из семи дней в неделю я принадлежала бы всецело моему искусству, и ко мне нельзя было бы подступиться ни с чем.

– Ты говоришь так, как будто до тебя никто никогда не владел кистью. Неужели ты думаешь, что мне незнакомы все эти чувства тревоги и волнений, нервозности и тоски неудовлетворенности? Ты можешь считать себя счастливой, если с тобою это бывает только четыре дня в неделю. Но что из этого?

– А то, что, если и ты тоже будешь испытывать все те же муки и тревоги, то мы отравим жизнь друг другу.

– Нет, я сумел бы уважать в тебе эти чувства и настроения, а другой человек не сумеет. Он может даже высмеять тебя. Но что пользы говорить об этом? Раз ты думаешь так, то ты еще не любишь меня.

Прилив затопил почти всю отмель, и мелкие волны раз двадцать набегали и уходили обратно в море, прежде чем кто-либо из них нарушил молчание.

– Дикки, – сказала она наконец медленно. – Я думаю, что ты много лучше меня.

– Это вовсе не относится к делу. Но в каком отношении?

– Я не вполне ясно отдаю себе отчет в этом, но во всем том, что ты говорил сейчас о работе и обо всем остальном, твои взгляды лучше и благороднее моих; и потом, ты так терпелив. Да, ты, несомненно, гораздо лучше меня.

Дик бегло представил себе все теневые стороны обычной мужской жизни, и в том, что предстало его мысленному взору, не было решительно ничего, что бы могло преисполнить его душу сознанием своей нравственной чистоты, и невольно он поднес край ее мехового плаща к своим губам.

– Почему ты можешь видеть вещи, которых я не вижу? – продолжала Мэзи, делая вид, что она не заметила его движения. – Я не верю тому, во что ты веришь, но мне кажется тем не менее, что ты прав.

– Если я видел многое, то только для тебя и ради тебя, и я знаю, что не мог бы сказать об этом никому другому, кроме тебя. Ты мне как будто все прояснила на мгновение. Но ведь я не претворяю в жизнь то, что я проповедую, а ты хотела бы помочь мне... Нас всего только двое на этом свете для всех наших благих целей, и... и ты говоришь, что тебе приятно иметь меня подле себя?

– Да, конечно, приятно. Я не знаю, можешь ли ты вполне понять, насколько я безнадежно одинока!

– Дорогая, мне думается, что могу.

– Два года тому назад, когда я сняла этот маленький домик, я имела привычку ходить взад и вперед по нашему дворику и стараться заплакать; я никогда не плачу, не могу плакать, а ты?

– Уже давно и не пробовал плакать. А что было тому причиной? Переутомление?

– Не знаю; но я, видишь ли ты, представляла себе, что я совершенно надломлена, что у меня нет средств, что я умираю с голода в Лондоне, и об этом я думала изо дня в день, целыми днями, и это так пугало меня... о, как это меня пугало!

– Мне знаком этот страх. Самый ужаснейший из всех. Он иногда заставляет меня просыпаться ночью. Но тебе он не должен был бы быть знаком.

– Откуда ты знаешь об этом?

– Не все ли равно. Ведь твои триста фунтов годового дохода целы?

– Они в государственных фондах.

– Это хорошо. И если тебе будут предлагать более выгодное помещение, даже если сам я стал бы тебе советовать, не слушай! Никогда не трогай капитала и не давай никому ни гроша, даже и твоей рыжеволосой приятельнице.

– Не бранись раньше времени. Я уж не так неблагоприятна, как ты думаешь.

– Свет полон людей, которые рады были бы заложить свои души за триста фунтов годового дохода; а женщины приходят и выпрашивают займы то пять, то десять фунтов, а женщины не совестливы в денежных делах. Потому держись крепко за свои деньги, Мэзи. Нет ничего ужаснее в мире нищеты в Лондоне. Меня она задела и вселила мне в душу ужас и страх, а человек не должен знать страха, должен ничего не бояться. У каждого человека есть свой страшный кошмар, который преследует его, и если не бороться против него, то он одолеет человека и доведет его до полного малодушия.

Нищета и жестокая нужда, которую пришлось испытать Дику, оставила глубокий, неизгладимый след в его душе; и чтобы добродетель не слишком дешево обходилась ему, этот страшный призрак постоянно стоял за его спиной и толкал его на постыдные сделки, когда являлись покупатели его товара.

Мэзи внимательно следила за выражением его лица в лунном сиянии.

– Но теперь у тебя достаточно много денег, – заметила она успокаивающим тоном.

– У меня никогда не будет достаточно, – начал он почти злобно, но затем рассмеялся. – Мне всегда будет не хватать трех пенсов при расплате.

– Почему именно трех пенсов?

– А вот почему: я однажды донес какому-то человеку узел от Ливерпульской станции до Блэкфрайерского моста и должен был получить за это шесть пенсов. Ты не смейся, – они мне были нужны позарез, а получил я всего только три пенса, да и то не серебром. И сколько бы я ни заработал, мне всегда не доплатят этих несчастных трех пенсов.

Такая речь была не совсем к лицу человеку, который только что проповедовал о святости труда, и это поразило Мэзи, которая предпочитала, чтобы ей платили не деньгами, а похвалами, за которыми гонятся все и которые потому, очевидно, должны быть предпочтительны, – и, пошарив в своем кошельке, она с серьезным видом достала три пенса и сказала:

– Вот они, Дикки, я тебе заплачу; а ты не горюй и не тревожься больше; не стоит того. Теперь тебе уплачено?

– Да, уплачено, – сказал проповедник высокого и чистого искусства, беря из ее рук монету, – мне уплачено с лихвой, и на этом мы сведем счеты. Эта монета всегда будет при мне, на моей цепочке от часов. Ты просто ангел, Мэзи!

– Я ужасно озябла и чувствую легкую дрожь. Боже мой, даже вся шубка заиндевела, как и твои усы, а я и не заметила, что так холодно.

Легкий морозец действительно забелил ее ульстер на спине и на плечах. Дик тоже позабыл о температуре; оба они рассмеялись, и этот смех положил конец серьезным разговорам.

Они побежали бегом через пустырь, чтобы согреться, но затем оглянулись назад полюбоваться красотой прилива при лунном свете и резкими черными очертаниями кустов на берегу. Дика очень радовало то, что Мэзи видела краски так же, как и он, что и она улавливала голубой тон в белизне тумана, и фиолетовый в черном свете мерзлых мхов и во всем остальном, и не один какой-нибудь колорит, а тысячи различных оттенков. И видно, лунный свет проник в самую душу Мэзи и озарил ее своим сиянием, так что она, обычно такая сдержанная и замкнутая, щебетала теперь о себе и обо всем, что ее интересовало: о Ками, мудрейшем из наставников, о девушках, работавших одновременно с ней в его студии, о поляках, которые могут до смерти надрываться над работой, если их не сдерживать, о французах, которые всегда гораздо больше говорят, чем могут когда-либо осуществить, о медлительных и молчаливых англичанах, которые терпеливо трудятся, но очень плохо усваивают и никак не могут понять, что склонность не дает силы творчества, и об американцах, громкие, резкие голоса которых в жаркий полдень в духоте студии действуют на натянутые нервы, как удары бича, а их ужины вызывают несварение желудка, и о буянах русских, которых ничем нельзя обуздать, которые рассказывают девушкам про ведьм и чертей и привидения, пугая их до крика или до слез,

о тупоумных германцах, которые, добросовестно изучив одно что-нибудь, уезжают к себе на родину и затем всю жизнь пишут копии. Дик слушал с восхищением, потому что говорила Мэзи, и вспоминал свою прежнюю жизнь.

– Почти ничего там не изменилось, – сказал он. – Ну а краски тоже воруют по-прежнему?

– Не воруют, а присваивают, – поправила она, – ну, конечно! Я была благородна, я присваивала только ультрамарин, а есть и такие, что присваивают даже белила – цинковые белила.

– Я тоже присваивал; без этого никак нельзя, раз палитры повешены во время завтрака; краска становится общим достоянием, раз она стекает с палитры, даже в том случае, если вы подействовали этому капелькой-другой масла. Это учит человека аккуратнее обращаться с красками, не накладывать слишком много на палитру.

– Я хотела бы присвоить себе некоторые из твоих красок, Дик. Может быть, я вместе с ними уловила бы и твой успех.

– Не стану браниться, а следовало бы! Что значит этот успех в сравнении с теми чудесами, каких ты еще не видела, в сравнении... Ну, да я лучше не стану возвращаться к этому вопросу... Пора нам вернуться в город.

– Мне страшно жаль, Дик, но...

– Но ты гораздо больше дорожишь успехом, чем мной.

– Не знаю... я думаю, что нет...

– Что ты мне обещаешь за то, что я дам тебе верное средство избавиться от всякого беспокойства, тревоги и тоски, на которые ты жаловалась? Обещаешь ты повиноваться мне?

– Конечно.

– Так вот, прежде всего не забывай никогда о еде из-за работы. Ведь на прошлой неделе ты два раза позабыла позавтракать, – сказал Дик наудачу, так как знал, с кем имеет дело.

– Нет, нет, уверяю тебя, не два раза, а только один раз, – запротестовала Мэзи.

– И этого уже вполне достаточно. И кроме того, ты не должна довольствоваться чаем с сухарями вместо обеда, по той причине, что обед – дело хлопотливое.

– Ты просто смеешься надо мной?

– Никогда в жизни я не говорил серьезнее. О, горячо любимая моя, неужели ты до сих пор не можешь понять, что ты такое для меня? Целый мир сговорился против тебя, грозя тебе простудой, или опасностью быть раздавленной на улице, или промокнуть до костей, или выманить у тебя твои деньги, или дать тебе умереть от переутомления и недостаточного питания, а я не имею даже права охранять тебя и заботиться о тебе! Да что я! Я даже не знаю, имеешь ли ты достаточно благоразумия, чтобы надевать что-нибудь теплое в такую сырую и холодную погоду!

– Дик, ты положительно самый несносный человек, какого я только знаю! Ну, как ты думаешь, жила же я до сих пор без тебя!

– Меня здесь не было, и я ничего не знал об этом. Но теперь, когда я вернулся, я с радостью отдал бы все на свете, чтобы иметь право сказать тебе: вернись в комнату – на дворе дождь!

– Все на свете, и даже твой успех?

На это раз Дик с трудом сдержал себя от резких бранных слов.

– Ах, Мэзи, ты действительно чистое «сокрушение», как говаривала миссис Дженнет; ты слишком долго пробыла в школе и думаешь, что весь мир смотрит на тебя, а между тем в целом мире нет, быть может, тысячи двухсот человек, которые действительно смыслят что-нибудь в живописи, а остальные только делают вид, будто они что-нибудь понимают... Вспомни, что я видел те же тысячу двести человек, лежащих грудой гниющих трупов, и вот голос такой маленькой кучки людей создает успех, и остальной мир совершенно не интересуется ни тобой, ни твоим успехом, ни живописью вообще, потому что, как знать, быть может, в целом мире

каждый человек главным образом занят тем, что препирается, вот как и мы с тобой, со своей собственной Мэзи.

– Бедная Мэзи!

– Нет, бедный Дик! Как ты думаешь, в то время, когда он борется за то, что ему дороже самой его жизни, неужели у него может быть желание смотреть на картины или интересоваться ими? И даже если бы он стал смотреть на картины и весь мир с ним и тысячи миллионов людей поднялись и стали превозносить меня и слагать гимны в мою честь и всячески прославлять меня, разве это могло бы удовлетворить меня, когда я знаю, что ты в дождь бегаешь за покупками без галош и без зонта? А теперь отправимся на станцию.

– Но ты сейчас говорил там на берегу... – возразила Мэзи не без некоторого страха.

Дик громко застонал.

– Да, да, я знаю, что я говорил: что моя работа для меня все на свете, что это все мое «я», все, что я имею в настоящем и на что надеюсь в будущем, и мне кажется, что я нашел закон, который руководит ею. Но у меня, кроме того, еще осталась капля здравого рассудка, хотя ты почти совсем вышибла его у меня, и я еще могу сознавать, что для мира мое искусство или моя работа еще не все на свете! А ты поступай, как я тебе говорю, но не поступай так, как я поступаю.

После этого Мэзи тщательно избегала затрагивать спорные вопросы, и на обратном пути в Лондон они были очень веселы. Прибытие прервало Дика как раз на красноречивом дифирамбе физическим упражнениям; он говорил, что купит ей лошадь, лучше которой никогда не было под седлом, и поставит ее на конюшне в десяти – двадцати милях от Лондона, и раза три или четыре в неделю Мэзи будет кататься с ним верхом, исключительно для ее здоровья.

– Это нелепо, – воскликнула Мэзи, – и кроме того, и неприлично!

– Ну, скажи на милость, кто в целом Лондоне настолько интересуется нами, чтобы привлечь нас к отчету за то, что мы делаем или как мы поступаем?

Мэзи при этом посмотрела на мутный туман, на светлые точки фонарей и противную, густую толпу и подумала, что Дик был прав.

– Ты бываешь очень мил иногда, Дик, но ты гораздо чаще бываешь совершенно безрассуден. Я не позволю тебе ни дарить мне лошадей, ни провожать меня домой; я и сама доберусь до дома. Но ты должен мне обещать, что не станешь больше думать об этих злополучных недоплаченных тебе трех пенсах, обещаешь? Помни, что ты получил свое, и я не позволю тебе злобствовать и со зла плохо работать из-за таких пустяков. Ты можешь быть так велик, что не вправе быть мелочным!

Это был, так сказать, финальный удар с ее стороны, и после этого Дику ничего более не оставалось, как усадить Мэзи на извозчика и отправить ее домой.

– Прощай, – сказала она просто и непринужденно. – Ты зайдешь ко мне в воскресенье? Мы провели сегодня прекрасный день, Дик. Почему бы не оставить все это так навсегда?

– Почему? Потому, что любовь – это все равно что живопись. Нужно или двигаться вперед, или идти назад, только не стоять на месте! Кстати, работай над своей живописью, продвигайся вперед и ради всего святого на свете и ради меня береги себя! Прощай.

Он повернулся и в раздумье побрел домой. Этот день не дал ему ничего, на что он робко надеялся, но все же он стоил многих других дней: он значительно сблизил его с Мэзи. Развязка являлась только вопросом времени, а награда стоила того, чтобы ее подождать, и инстинктивно он повернул к реке.

– И как она сразу все поняла, – сказал он, глядя на воду. – Она сразу угадала мое слабое место и устранила его. Боже, как быстро она все поняла! И она сказала, что я лучше ее! Лучше ее!..

И он расхохотался внутренне при мысли об этом.

– Хотел бы я знать, угадывают ли девушки, хоть наполовину, какова наша жизнь, жизнь мужчины, до брака?.. Нет, едва ли, не то они не захотели бы выходить за нас замуж. – Он достал из кармана данную ему серебряную монету и посмотрел на нее, как на своего рода талисман и залог того взаимного согласия, которое когда-нибудь приведет их к полному счастью. А пока Мэзи одна и беззащитна в этом суровом Лондоне, и нет у нее никого, кто бы оградил ее от многообразных опасностей, подстерегающих ее здесь. И Дик стал молить судьбу, несвязно, как это делают дикари-язычники, и кинул свою заветную монетку в воду. Если уж суждено случиться какому-нибудь несчастью, то пусть оно всей своей тяжестью обрушится на него одного и не коснется Мэзи. Ради этого он расстался с драгоценнейшим из всех своих сокровищ, с этими тремя пенсами, которые сами по себе, быть может, были ничтожны, но их дала ему Мэзи; теперь Темза поглотила эту монетку и сохранит ее, и судьба будет умиловлена на этот раз этим его даром.

И эта брошенная в воду монета как будто сразу освободила его от неотступной мысли и думы о Мэзи. Он со вздохом облегчения покинул мост и, посвистывая, направился к себе. Сильная потребность в крепком табаке и мужской товарищеской беседе проснулась теперь в нем после того, как он в первый раз в жизни провел целый день в обществе женщины. Было в нем и еще одно, более сильное желание, которое особенно громко заговорило в нем, когда перед его мысленным взором предстал «Барралонг», отправлявшийся в дальний путь, навстречу Южному Кресту.

VIII

Торпенгоу перелистывал последние страницы какой-то рукописи, в то время как Нильгаи, зашедший поиграть в шахматы и оставшийся обсуждать тактические задачи, просматривал начало рукописи, сердито комментируя то то, то другое.

– Все это очень картинно и бойко, – сказал он, – но как серьезный взгляд на положение дел в Восточной Европе это ничего не стоит.

– Мне бы только с рук сбыть... тридцать шесть, тридцать семь, тридцать девять столбцов, всего около одиннадцати или двенадцати страниц ценных сведений от местного специального корреспондента... Уф!.. – Торпенгоу собрал в кучу исписанные листы и замурлыкал какую-то песенку.

Вошел Дик, самодовольный, но несколько недоверчивый, хотя и в прекраснейшем расположении духа.

– Вернулись, наконец?

– Как будто да... Ну, что вы здесь делали?

– Работали, Дик, а ты ведешь себя так, как будто весь Английский банк в твоём распоряжении. Ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник ты не брал кисти в руки. Просто стыд!

– Взгляды и суждения рождаются и отживают или рассеиваются, как дым наших трубок, детки мои, – сказал он, набивая свою трубку, – при том же и Аполлон не всегда натягивает свой...

– Здесь не к месту проповедовать теорию непосредственного вдохновения, – сказал Нильгаи. – Как вы видите, мы признаем только ремесло, дратву да шило.

– Ну, если бы вы не были такой огромный и толстый, – заявил Дик, осматриваясь, нет ли под рукой какого-нибудь оружия, – я бы вас проучил, голубчик...

– Прошу без возни и драки в моей комнате. Вы двое прошлый раз переломали мне всю мебель, кидаясь подушками с дивана. А ты мог бы поздороваться с Бинки. Посмотри, как он к тебе ластится.

Бинки спрыгнул с дивана и, виляя хвостом, вился вокруг ног Дика, царапая его колени и барабая лапками по его ботинкам.

– Милейший мой паренечек! – воскликнул Дик, подняв его на руки и целуя его в черное пятно над правым глазом. – Что ты подельывал без меня, голубчик? Этот урод Нильгаи выжил тебя с дивана? Укуси его хорошенько, мистер Бинкль! – И Дик посадил собачонку прямо на толстое брюхо Нильгаи, который лежал, удобно развалившись на диване. Бинки принялся тормозить Нильгаи, словно он собирался растерзать его на клочки, но, придушенный подушкой, он наконец выбился из сил и, запыхавшись, высунув язык, спокойно улегся на соседнем стуле.

– Сегодня Бинки уходил гулять, когда ты спал, Торп, и я видел, как он любезничал с мясником на углу, точно его дома не кормят, – сказал Дик.

– Бинки, правда это? – спросил Торпенгоу строго.

Терьер проворно забрался под подушку дивана, выставив наружу только тучный зад, как бы заявив этим, что не желает более продолжать данный разговор.

– Да и другой блудливый пес тоже уходил гулять сегодня поутру, – заметил Нильгаи. – Что заставило вас подняться в такую рань? Торп уверяет, что вы задумали купить лошадь.

– Он отлично знает, что для столь важного дела потребовалось бы совещание всех трех наших персон. Нет, я просто почувствовал себя одиноко и отправился за город поглядеть на море и на суда, уходящие в плавание.

– Ну и куда же вы отправились?

– Куда-то на берег канала. Прогли или Снигли, не помню название местечка, в двух часах езды от Лондона.

– И что же вы видели? Что-нибудь знакомое?

– Только «Барралонга», отправлявшегося в Австралию, да тяжелое грузовое судно из Одессы с грузом зерна. День был пасмурный, но море пахло заманчиво.

– И для того, чтобы видеть «Барралонг», вы вырядились в свое лучшее платье?

– У меня нет другого, кроме рабочей пары, и, кроме того, я хотел уважить море.

– Скажите, вид моря не взволновал вас?

– Ужасно! Лучше и не говорить об этом. Я даже сожалею, что поехал.

При этих его словах Торпенгоу и Нильгаи переглянулись, воспользовавшись моментом, когда Дик наклонился и стал расстегивать свои ботинки и начал рыться в обуви своего приятеля.

– Ну, вот эти годятся, – заявил он наконец. – Не могу сказать, чтобы я одобрял ваше пристрастие к туфлям вообще, но вот это штука хорошая, и он натянул пару мягких котов и растянулся во всю длину на удобной кушетке.

– Это моя любимейшая пара, – сказал Торпенгоу, – я только что хотел ее надеть.

– Вот он, ваш проклятый эгоизм! – воскликнул Дик. – Только потому, что ты увидел, что я на мгновение вполне счастлив и доволен, тебе нужно во что бы то ни стало расстроить и разбередить мой покой. Найди себе другую пару.

– Хорошо еще, что Дик не может носить вашего платья, Торп; вы двое, как я вижу, живете, как в коммуне, – заметил Нильгаи.

– К сожалению, у Дика никогда нет ничего такого, что бы я мог надеть; у него можно только кое-что стибрить.

– Провались ты сквозь землю! – воскликнул Дик. – Значит, это ты шарил в моих вещах; я вчера положил золотой на дно моей табакерки. Ну, как прикажете после этого аккуратно вести свои счета?

Нильгаи расхохотался, и Торпенгоу присоединился к нему.

– Ты вчера положил червонец в табакерку? Да? Ах ты финансист! Ты одолжил мне пятерку в прошлом месяце, помнишь? – спросил Торпенгоу.

– Ну, конечно, помню.

– А помнишь ты, что я отдал тебе эти деньги ровно через десять дней, и ты тогда при мне положил их в свою табакерку?

– Неужто? А я ведь думал, что сунул их в один из ящиков с красками.

– Вот видишь!.. С неделю тому назад я пошел к тебе поискать табак и нашел этот золотой.

– И что ты сделал с ним?

– Пригласил Нильгаи в театр и после того накормил его.

– Этого ты не мог сделать на столь ничтожную сумму; даже если бы ты истратил вдвое больше и кормил его простым солдатским мясом, и то не наполнил бы им его ненасытной утробы. А все-таки я думаю, что я рано или поздно вспомнил бы про эти деньги. Чему вы смеетесь?

– Удивительный вы, право, человек, Дик... А все же мы прекрасно поужинали на ваши деньги, и сделали это по праву. Мы усердно проработали весь день и затем проели незаслуженные и незаработанные деньги отъявленного бездельника.

– Очень любезное объяснение человека, набившего себе брюхо за мой счет. Но я на днях верну себе этот обед, я выцарапаю его у вас, а пока не пойти ли нам в театр? Что вы скажете?

– Обуваться, одеваться, умываться и причесываться?.. – лениво протянул Нильгаи.

– Беру назад свое предложение.

– Ну а может быть, просто ради разнообразия, мы притащим сюда твой холст и уголь и станем продолжать начатую работу? – выразительно проговорил Торпенгоу, но Дик только с веселой усмешкой пошевелил большими пальцами ног в мягких ночных сапогах.

– Какой у вас односторонний ум, господа! Далась вам эта работа! Но, видите ли, если бы у меня была сейчас незаконченная фигура, то я не мог бы приняться за нее, потому что у меня нет модели; если бы у меня была модель, то я не мог бы писать ее, потому что у меня нет фиксатора, а я никогда не оставляю на ночь набросок угля, не зафиксировав его. И если бы у меня была модель, и фиксатор, и двадцать превосходных фотографических снимков для заднего плана, то и тогда я не мог бы ничего делать сегодня, потому что я совершенно не в настроении.

– Бинки, умный песик, видишь, какой это неисправимый лентяй!

– Ну, хорошо, я, так и быть, примусь за работу! – воскликнул Дик, разом вскочив на ноги. – Я сейчас притащу книгу Нунгапунга, и мы добавим еще одну иллюстрацию к саге Нильгаи.

– А уж не очень ли вы его изводите, Торп? – заметил Нильгаи, когда Дик вышел из комнаты.

– Возможно, но я знаю, что этот человек может дать, если только он захочет. Меня приводит в бешенство, когда я слышу, как его восхваляют за его старые, прежние работы, когда я знаю, что теперь он должен был бы дать миру нечто несравненно лучшее, когда я знаю, что он может, но не хочет... И это приводит меня в отчаяние... Мы с вами должны сделать в этом отношении все, что от нас зависит.

– Да, и когда мы сделаем все, что от нас зависит, нас безо всякой церемонии отшвырнут в сторону, и совершенно резонно, ради какой-нибудь девчонки.

– Желал бы я знать, где он был сегодня?... Как вы думаете?

– На морском побережье, конечно; разве вы не видели этого по глазам, когда он говорил о море? Теперь ему так же не сидится на месте, как ласточке по осени.

– Да, да... Но был ли он там один?

– Этого я не знаю, да и знать не желаю, но, несомненно, что им овладела кочевая лихорадка, что его тянет вдаль, к отлету, и что бы он ни говорил раньше, сейчас его влечет в море, на восток.

– Это могло бы спасти его, – сказал Торпенгоу.

– Да, пожалуй, если вы согласны принять на себя ответственную роль спасителя; я же терпеть не могу нянчиться с человеческими душами.

Дик вернулся с большим альбомом набросков, хорошо знакомым Нильгаи, но не пользовавшимся его симпатиями. В свободные минуты Дик имел привычку зарисовывать в этот альбом всякие приключения и любопытные моменты, пережитые им или другими в разных концах света. Но главным сюжетом здесь являлся Нильгаи со своей крупной, неуклюжей фигурой и бесчисленными похождениями, часто весьма комическими. Часто, когда не хватало истинных происшествий, Дик прибегал к фантазии и изображал небывалые перипетии из жизни Нильгаи; его бракосочетание с африканскими принцессами, его коварные измены, татуирование его тучной особы искусными мастерами Бирмы, его «интервью» (и его трусость при этом) с желтолицым палачом в Кантоне в эпоху кровавой экзекуции европейцев и, наконец, переселения его души в кита, слона и тукана. К этим забавным рисункам Торпенгоу иногда прибавлял рифмованные пояснения, так что в целом этот альбом представлял собою довольно любопытный образец искусства, тем более что, в соответствии с самим названием альбома, означавшим в переводе «Голый», Дик везде изображал Нильгаи без всякого одеяния. Последний рисунок, изображавший многоопытного мужа в военном министерстве, предъявляющим требование на какой-то египетский орден, был даже отменно неприличен.

Удобно расположившись у стола, Дик принялся перелистывать альбом.

– Да тут целое состояние! Все эти рисунки замечательно сочны и живы... Ну, вот хотя бы «Нильгаи, окруженный махдистами во время купания»... ведь это истинное происшествие!

– Это купание очень легко могло стать моим последним купанием, непочтительный пачкун! – огрызнулся Нильгаи. – А что, Бинки еще не попал в альбом?

– Нет, ведь славный мальчик Бинки только и делает, что гоняет да душит кошек... Лучше посмотрим здесь... Ведь эти наброски прекрасно будут продаваться по десяти гиней за штуку. Право, вы должны быть благодарны мне за то, что я увековечил вас для потомства... Ну а теперь что же мы изобразим? Домашнюю жизнь Нильгаи?

– Никогда не знал таковой!

– Совершенно верно! В таком случае изобразим недомашнюю жизнь Нильгаи – ну хотя бы массовый митинг его жен в Трафальгар-Сквере. Прекрасно! Эти дамы съехались сюда со всех концов земного шара по случаю свадьбы Нильгаи с англичанкой. Буду писать сепией, это самая приятная краска для работы.

– Да ведь это же позорная трата времени! – воскликнул Торпенгоу.

– Не сокрушайся, это, во всяком случае, тренирует руку и займет немного времени, особенно если делать набросок прямо краской, без карандаша. – Он быстро стал наносить краску, приговаривая: «Вот вам Нельсоновская колонна, вот и Нильгаи, прислонившийся к ней спиной и плечами...»

– Одень его как-нибудь хоть на этот раз, – вмешался Торпенгоу.

– Непременно... фату и веночек из флердоранжа, как подобает новобрачному.

– Остроумно! – сказал Торпенгоу, глядя через плечо Дика, в то время как он двумя ударами кисти изобразил жирную спину и плечо, прислоненное к колонне.

– И представьте себе, господа, что мы могли бы помещать несколько таких милых рисунков в том или ином журнале каждый раз, когда Нильгаи науськивает на меня какого-нибудь писаку для изложения честного взгляда на мои работы.

– Но имейте в виду, что я всегда предупреждаю вас об этом. Я знаю, что сам я не в состоянии пробрать вас так, чтобы вас прошибло, потому и поручаю это другому лицу, например, молодому Маклагану.

– Что?.. Этому желторотому птенцу вы поручили проучить и вразумить меня!.. Протяните-ка, милейший, вашу руку в направлении стены, вот так... Левое плечо неудачно вышло, придется накинуть на него фату... Где мой перочинный нож?.. Ну и что же с этим Маклаганом?

– Я дам ему только одни общие указания, как разнести вас за то, что вы не хотите создать ничего серьезного, не работаете над каким-нибудь произведением, которое могло бы вас пережить.

– Да, и после того этот молокосос, оставшись наедине с банкой чернил и тем, что он считает своими личными взглядами на искусство, вылил всю эту бестолковую смесь на мою бедную голову в газете... Право, Нильгаи, вы могли бы обратиться для этого и к взрослому человеку. Как тебе кажется, Троп, хороша эта подвенечная фата?

– Черт возьми, в самом деле, каких-нибудь два мазка и два-три скребка могут так рельефно отделить ткань от тела! – воскликнул Торпенгоу, для которого манера Дика всегда являлась чем-то новым, невиданным.

– Это зависит исключительно от умения, и если бы Маклаган обладал таким же умением в своем деле, его статьи были бы, несомненно, гораздо лучше.

– Почему же вы не примените это ваше умение и не используете эти мазки для чего-нибудь дельного, фундаментального?.. – настаивал Нильгаи, действительно немало постаравшийся ради исправления и вразумления Дика натравить на него молодого джентльмена, посвящавшего свой досуг рассуждениям о целях и задачах искусства.

– Постойте, дайте мне распланировать мою процессию жен. Ведь вы имели их без счета, и мне надо изобразить и мидиянок, и пароянок, и идумитянок... Ну-с, а затем, не говоря о

беспольности, бессмысленности и даже безнравственности умышленного создания чего-то долговечного, переживающего своего творца, я вам скажу, что я утешаюсь тем, что уже создал свой шедевр, лучшее, что я мог создать до сих пор, и знаю, что ничего подобного я вскоре опять не напишу, и вероятно, даже никогда не напишу.

– Как! Неужели в числе той мазни, что валяется теперь в твоей мастерской, находится твоя лучшая вещь? – спросил Торпенгоу.

– О, нет. Она не здесь и не продана. Она даже не может быть продана, и едва ли кто знает, где эта картина теперь находится. Я, во всяком случае, ничего об этом не знаю... Ну а теперь прибавим еще и жен с северной стороны сквера... Заметьте, господа, целомудренный ужас львов у памятника...

– Ты бы мог, я думаю, объяснить нам эту загадочную историю о твоём лучшем произведении, – сказал Торпенгоу, когда Дик поднял голову от своего рисунка.

– Море напомнило мне об этой картине, – сказал Дик медленно и задумчиво. – Лучше бы я не вспоминал о ней... Весит она несколько тысяч тонн, если только ее не вырубить топором...

– Ну, не кривляйтесь, не валяйте дурака, – сказал с досадой Нильгаи.

– Я отнюдь не кривляюсь, я вам говорю истинный факт. Я плыл из Лимы в Аукленд на громадном, старом, никуда не годном судне, превращенном из пассажирского в транспортное. Эта старая галоша съедала по пятнадцати тонн угля в сутки, и мы были рады, когда делали по семи узлов в час.

– Что же, вы были слугой или кочегаром на этом судне?

– Нет-с, у меня тогда водились деньги, и я был пассажиром, – ответил Дик, – а при иных условиях я, вероятно, был бы слугой.

На несколько минут он серьезно отдался процессии разгневанных разноименных жен, а затем продолжал:

– Нас, пассажиров, было только двое, если не считать невероятного количества крыс, тараканов и скорпионов.

– Но при чем тут ваша картина?

– Погодите... Когда-то судно возило пассажиров-китайцев, и потому на его нижней палубе были сделаны скамьи для двух тысяч желтокожих сынов небесной империи. Скамьи эти, однако, убрали, и нижняя палуба оказалась совершенно пустой. Свет проникал на нее сквозь амбразуры для орудий, свет не совсем удобный для работы, особенно с непривычки, и я по целым неделям волей-неволей сидел сложа руки. Наши судовые карты истрепались вконец, и наш шкипер не решался идти на юг, опасаясь штормов. Он тащился от острова до острова, а я со скуки принялся расписывать стену на нижней палубе. У шкипера в кладовой нашлись коричневая и зеленая краски для окраски шлюпок и черная для цепей и других железных предметов, и это было все, чем я мог располагать.

– Пассажиры, вероятно, принимали вас за помешанного.

– Их, кроме меня, была всего только одна женщина, и она-то и внушила мне идею этой картины.

– Что она собой представляла? – спросил Торпенгоу.

– Это была помесь негритянки с еврейкой-кубанкой, и мораль ее была соответствующая; она не умела ни читать, ни писать и не считала нужным чему-нибудь учиться, но часто приходила вниз смотреть на мою работу, что весьма не нравилось нашему шкиперу, который вез ее для себя, а ему приходилось проводить большую часть времени на мостике.

– Понимаю. Вам было, вероятно, очень весело.

– Это было лучшее время моей жизни! Начать с того, что мы никогда не знали, плывем ли мы вперед или назад и будем ли мы живы каждый раз, когда море начинало бурлить. Когда же наступал штиль, то это был настоящий рай, в котором женщина растирала краски и болтала на ломаном английском языке, а шкипер поминутно прокрадывался вниз и подстерегал нас,

уверяя меня, что он боится пожара и потому часто навевается на нижнюю палубу. И мы никак не могли предвидеть, когда нас застанут врасплох, и при этом, имея грандиозную идею, я располагал для ее осуществления всего только тремя красками.

– А какая же это была идея?

– Я взял ее из строк Эдгара По:

Ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли
Мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли!

А все остальное мне дало море... Я написал эту борьбу демонов и ангелов в зеленых волнах над обнаженной, грешной, захлебывающейся в этих волнах душой, и женщина служила мне моделью как для демонов, так и для ангелов, морских демонов и морских ангелов, заметьте, а также и для полузахлебывающейся души. Словами этого не описать, но при хорошем освещении на нижней палубе эта картина была действительно превосходна. Она имела семь футов в высоту и четырнадцать в длину.

– И эта женщина так вдохновляла вас?

– Она и море вместе, да! В этой картине было много погрешностей в рисунке. Я прибежал к нелепым ракурсам из одного озорства, но при всем том это, несомненно, лучшая вещь из всего, что я написал... А теперь это судно, может быть, пошло на слом или же пошло ко дну вместе с моей картиной... Эх, славное это было время!..

– Ну а чем же ваше плавание кончилось?

– Мы пришли в порт, и судно стали грузить шерстью, но даже грузчики старались не заваливать тюками мою картину. Я полагаю, что их пугали глаза демонов.

– А женщина?

– О, она тоже боялась их! Она имела даже привычку креститься перед тем, как сходила вниз посмотреть на картину, когда она была закончена... И всего только три краски, и ничего больше, и море под ногами, и небо над головой, и бесшабашное волокитство под носом у старого шкипера, и надо всем – постоянный страх смерти... О, Боже!..

Он бросил рисовать и устремил свой взгляд куда-то в пространство.

– Почему бы вам не попробовать написать что-нибудь в этом духе теперь? – спросил Нильгаи.

– Потому, что этого рода вещи не достигаются постом и молитвой. Дайте мне грузовое судно, и кубанскую еврейку, и новую идею, и ту прежнюю жизнь, и тогда я, может быть, напишу.

– Ничего этого вы не найдете здесь, – сказал Нильгаи.

– Нет, не найду... – И Дик захлопнул альбом и встал.

– Здесь жарко, как в бане. Откройте окно кто-нибудь!

Подойдя к окну, он высунулся из него и стал вглядываться в темноту, окутывающую город там, внизу. Их меблированные комнаты находились значительно выше соседних зданий, и из окон открывался вид на сотни крыш и дымовых труб с вращающимися по ветру колпаками, похожими на присевших кошек. В северной части города огни цирка Пиккадилли и Линчестр-Сквера бросали темно-медный отблеск на черные крыши домов, а в южной мигали вереницы огоньков вдоль Темзы. Поезд с грохотом промчался по одному из железнодорожных мостов и заглушил на мгновение смутный уличный шум. Нильгаи взглянул на часы и сказал:

– Это ночной парижский экспресс. Можете ехать на нем в Петербург.

Дик совсем высунулся из окна и смотрел вдаль за реку. Торпенгоу подошел к нему, а Нильгаи сел за рояль. Бинки развалился на диване с таким видом, как будто его никто не смел потревожить.

– Что, друзья, – обратился Нильгаи к двум парам плеч в амбразуре окна, – разве вы никогда не видели Лондона?

В это момент буксирный пароход на реке дал резкий гудок, причаливая к пристани со своими баржами; шум переговоров долетел до окна комнаты, Торпенгоу слегка тронул Дика локтем и сказал:

– Хорошее место для наживы, но скверное – для житья, не правда ли, Дикки?

Продолжая глядеть в темноту, Дик отозвался словами одного небезызвестного полководца:

– Какой чудесный город для грабежа!

Бинки почувал, что сырой ночной воздух щекочет его ноздри, и жалобно чихнул.

– Мы простудим Бинки, – сказал Торпенгоу. – Отойдем!

Они отошли от окна, предварительно закрыв его, чтобы не простудился Бинки.

– Дай человеку место протянуть ноги, мистер Бинки, – сказал Дик, разваливаясь на диване, ласково щекоча бархатные ушки Бинки и зевая во весь рот.

– Этот комод совершенно расстроен, – сказал Торпенгоу, обращаясь к Нильгаи, – никто, кроме вас, к нему не подходит.

– Нильгаи играет, только когда меня нет дома, – заметил Дик.

– Это потому, что вас всегда дома нет, – ответил Нильгаи.

– Ну, пойте же, Нильгаи, пусть он послушает, – сказал Торпенгоу.

– Вся жизнь Нильгаи – разбой и обман,
Статьи его – Диккенс с водой пополам.
Когда же Нильгаи вдруг вздумает петь,
Сам Махди великий готов умереть! —

процитировал Дик одну из надписей Торпенгоу в книге Нунгапунга.

Нильгаи засмеялся. Пение было одним из его светских талантов, хорошо известных в дальних краях.

– Что же мне петь? – спросил он.

– Вашу любимую песню, – ответил Торпенгоу.

– Нет! – резко возразил Дик, так что Нильгаи широко раскрыл глаза от изумления. Правда, эта старая песня не отличалась особой мелодичностью, но Дик слушал ее десятки раз, не протестуя. Не проиграв прелюдии, Нильгаи сразу затянул те мощные звуки, которые зывают и волнуют сердца всех морских бродяг:

– Прощайте, прощайте, прекрасные леди,
Прощайте, прекрасные жены Испании!

Дик беспокойно повернулся на диване; ему казалось, что он слышит, как «Барралонг» рассекает носом зеленые волны на пути к Южному Кресту.

Далее следовал припев:

Будем петь и реветь средь соленых морей,
Как британским матросам пристало,
Пока лота не бросим в Английский канал;
От Уэссана до Силли всего сорок пять лиг.

– Тридцать пять лиг, тридцать пять! – задорно крикнул Дик. – Не вольничайте, пожалуйста, со священным текстом... Продолжайте, Нильгаи.

Мы пристали к земле, называемой Дидман, —

подхватили Дик и Торпенгоу и уже хором допели песню с большим воодушевлением до конца.

– Ну а теперь еще что-нибудь, Нильгаи, вы сегодня положительно в ударе.

– Спойте «Лоцман на Ганге»; вы пели это в ночь накануне Эль-Магриба... Желал бы я знать, многие ли из нашего хора остались в живых? – сказал Дик.

Торпенгоу на минуту задумался.

– Клянусь Юпитером, кажется, только вы двое да я. Рэйноу, Вакери и Диинс – все умерли, а Винцет подхватил оспу в Каире, привез ее сюда и умер от нее здесь... Да, только ты, да я, да Нильгаи.

– Да-а!.. А здешние господа живописцы, просидевшие и проработавшие весь век свой в хорошо натопленных студиях и разгуливавшие по улицам Лондона с полицейскими на каждом углу для охраны общественной безопасности, еще смеют говорить, что я дорого прошу за свои картины.

– Они покупают вашу работу, а не страховой полис вашего общества страхования жизни от несчастных случаев. До опасностей, которым вы себя подвергали, им дела нет, дитя мое.

– Но не будь их, не могло бы быть и этой работы! Ну, да полно ораторствовать, пойте лучше «Лоцмана». Где только вы подхватили эту песню?

– На могильной плите, друг мой, – сказал Нильгаи, – на далекой окраине я нашел эти слова, а музыку с удивительными басовыми аккордами я сочинил сам.

– О, тщеславный человек! Начинайте!

И Нильгаи начал:

– Друзья, я поднял якорь, плыву вниз по волнам,
А слушать приказанья предоставляю вам.
Еще ни разу в море не направлял я путь
С такой большой надеждой, вдыхая воздух в грудь.
Врезайся, Джо, врезайся в толпу врагов, как клин!
Друзья, рубите смело, пусть падает брамин!
Давай сюда! – вдруг Чернок нам крикнул во всю мочь. —
Мне девушку в утеху, тебе смуглянку дочь!
Джо юный, темнокожий, тебе под шестьдесят,
Ты позабыл о Кэти, твои глаза горят.

Они пели все трое хором, и густой бас Нильгаи отдавался в ушах Дика, точно рев ветра в открытом море.

Сюда живее пушку и цельтесь напрямик.
Я же в самое сердце их корабля проник.
Бросайте лот на Ганге, плывите что есть сил.
Меня с моей невестой я б схоронить просил.
Привет мой Кэти в Ферлайт ты отвези, Чернок,
Мы уплываем в небо сквозь голубой туман.

– Ну, может ли такая галиматья волновать человека? – сказал Дик, перетаскивая Бинки к себе на грудь.

– Это зависит от человека, – сказал Торпенгоу.

– От человека, который ездил взглянуть на море, – добавил Нильгаи.

– Я не знал, что оно может до такой степени взбудоражить меня.

– Так говорят, обыкновенно, мужчины, когда собираются распрощаться с женщиной, но я могу вас уверить, что легче расстаться с тремя женщинами, нежели с тем, что составляет часть нашей жизни и нашего существа.

– Но женщина тоже может... – начал было Дик довольно неосторожно.

– Быть частью нашей жизни? – закончил за него Торпенгоу. – Нет, не может. – Лицо его несколько омрачилось, но только на минуту. – Она говорит, что сочувствует вам, что хочет помогать вам, разделять ваши труды, а затем начнет присылать вам по пяти записочек на день, требуя, чтобы вы тратили все ваше время только на нее...

– Не обобщайте, – возразил Нильгаи. – Прежде чем дойти до пяти записочек в день, нужно очень многое проделать и испытать. Но лучше было бы вовсе не начинать таких вещей, сын мой.

– Лучше было бы мне не ездить на берег моря, – сказал Дик, видимо желая переменить разговор, – а вам не петь!

– Море не пишет по пяти записок на день, – заметил Нильгаи.

– Нет, но оно жестоко и неумолимо тянет к себе. Это живучая, старая ведьма, и я весьма сожалею, что познакомился с ней. Лучше было бы мне родиться, вырасти и умереть где-нибудь на задворках Лондона.

– Слышите, как он проклинает первую свою любовь! И почему бы тебе не послушать ее призыва? – спросил Торпенгоу.

Но прежде, чем Дик успел ответить, Нильгаи громовым голосом затянул «Моряков», так что стекла в окнах задрожали. Песня эта, как известно, начинается словами: «Море, старуха беспутная», и каждый восьмистроичный куплет заканчивается монотонным, протяжным припевом:

Ты, что родила нас, о, отпусти нас,
Море милее и добрее тебя,
Его зов в нашем сердце звучит!
Так говорят моряки.

Нильгаи дважды пропел эти строчки, чтобы Дик вник в их содержание, но Дик ждал следующей строфы, прощания моряков с женами.

Вы, что любите нас, жены, подруги,
Море милее нам вас,
И ваш сон будет слаще подчас...
Так говорят моряки.

И эти незатейливые, простые слова отозвались в душе Дика, как удары волн о борт ветхого судна в те далекие дни, когда женщина растирала краски, а он, Дик, писал ангелов и демонов в полумраке палубы и волочился за женщиной, не зная, в какую минуту ревнивый итальянец-шкипер воткнет ему нож между лопатками... И страсть к морю и скитанью по свету, страсть несравненно более сильная, чем многие всеми признанные страсти, недуг более несомненный, чем недуги, признанные медициной, с каждой минутой росла в нем и толкала его, любившего Мэзи превыше всего на свете, оставить ее, уйти в море и вернуться к прежней буйной, беспутной и разгульной жизни – к ссорам, дракам, сражениям, кутежам и азартной игре, к легким любовным похождениям и веселым товарищам. Сесть на судно и снова породниться с морем и в нем черпать вдохновение для новых картин; беседовать с Бина в песках Порт-Саида,

в то время как Желтая Тина готовит напитки; прислушиваться к треску ружейной перестрелки и следить за тем, как сквозь дым придвигаются черные, лоснящиеся лица, и видеть, как в этом аду каждый дорожит только своей головой... Это было невозможно, совершенно невозможно, но:

О, отцы наши и дети, что спите на кладбище,
Море старше вас —
И наши могилы будут еще зеленее.
Так говорят моряки.

– Что тебя может удерживать? – заметил Торпенгоу во время небольшой паузы после последней строфы песни.

– Да ты сам говорил, что не желаешь больше странствовать по свету, Троп.

– Это было давно, и я только восставал тогда против того, чтобы ты специально с этой целью копил деньги. Здесь ты свое дело сделал, достиг успеха, приобрел известность, теперь поезжай, посмотри свет, наберись новых впечатлений и начни работать по-настоящему.

– И не мешает вам и жиру поубавить; смотрите, как вы растолстели, – заметил Нильгаи, протянув руку и ощупывая бедро Дика. – Вон как отъелся; ведь все это – сало! Нужно вам спустить его непременно, Дик, нужно тренироваться!

– Ну, мы все порядком разжирели, Нильгаи. И в следующий раз, когда вам придется выехать на поле сражения, вы сядете на землю, будете пыхтеть, хлопать глазами и умрете от удара.

– Не беда, пусть так, только вы садитесь на судно и отправляйтесь в Лиму или в Бразилию; в Южной Америке ведь всегда беспокойно... там постоянные беспорядки.

– Вы думаете, что я нуждаюсь в указаниях, куда ехать? Боже мой, весь вопрос в том только, где остановиться!.. И я останусь здесь, как уже сказал вам.

– Так, значит, ты будешь погребен в Кэнзал-Грейне и пойдешь на корм червям со всеми остальными, – сказал Торпенгоу. – Или, быть может, тебя задерживают принятые заказы? Тогда заплати неустойку и поезжай. Денег у тебя достаточно, чтобы путешествовать по-царски, если ты того пожелаешь.

– Ты имеешь самое дикое, самое ужасное представление об удовольствии, Торп. Я представляю себя путешествующим в первом классе на современном пароходе-отеле в шесть тысяч тонн, беседующим с машинистом о том, что заставляет вращаться валы в машине, или справляющимся у кочегара, не жарко ли в топке... Ха! Ха!.. Да я отправился бы палубным пассажиром, если бы только вообще отправлялся куда-нибудь, но я никуда не поеду, я остаюсь здесь... Впрочем, в виде уступки, я предприиму небольшую экскурсию.

– Ну и то ладно, если так. Куда же ты отправишься, Дик? – спросил Торпенгоу. – Это принесло бы тебе такую громадную пользу.

А Нильгаи уловил лукавую искорку в глазах Дика и потому ничего не сказал.

– Прежде всего я отправлюсь в манеж Ратрея, возьму у него лошадь и поеду в Ричмонд-Хилль, и если она взмылится, то, чтобы не огорчить Ратрея, я возвращусь шажком обратно. Это я сделаю завтра же, ради моциона и воздуха.

– Бух! – Дик едва успел заслониться руками от подушки, которой в него запустил возмущенный Торпенгоу.

– Ему нужен моцион и воздух! – воскликнул Нильгаи, наваливаясь на Дика всей тяжестью своего грузного тела. – Так дадим ему и того и другого! Давайте сюда меха, Торп.

И дружеская беседа превратилась в свалку; Дик не хотел открывать рта, пока Нильгаи не зажал ему носа, и затем всунул ему носик мехов в рот и принялся ими работать; но Дик и тут оказал некоторое сопротивление, пока, наконец, его щеки не раздулись, и он, схватив подушку,

не стал колотить ею без жалости своих мучителей, так что перья полетели по комнате. Бинки вступился за Торпенгоу, и был засунут в наволочку наполовину выпотрошенной подушки, из которой ему предоставлялось выбраться, как умеет, что он и сделал, повертевшись и покатавшись некоторое время вместе с этим мешком по комнате; а тем временем три столпа его мира, утомившись, занялись чисткою, снимали с себя перья и выбирали их из своих волос.

– Нет пророка в своем отечестве! – огорченно промолвил Дик, очищая свои коленки от пуха и перьев. – Этот противный пух никогда не очистится, – пробормотал он.

– Это вам полезно, – сказал Нильгаи. – Нет ничего лучше свежего воздуха и моциона.

– Да, это было бы тебе полезно, – повторил Торпенгоу, но, очевидно, имея при этом в виду не только что окончившееся дурачество, а все то, что говорилось раньше. – Ты бы опять увидел вещи и предметы в их настоящем свете, и это помешало бы тебе окончательно размякнуть и распуститься в этой тепличной атмосфере большого города. Право, дорогой мой, я бы не стал говорить, если бы я этого не думал, но только ты все обращаешь в шутку.

– Видит Бог, что я этого не делаю! – воскликнул Дик быстро и серьезно. – Ты меня не знаешь, если так думаешь, Торп!

– Я этого не думаю, – сказал Нильгаи.

– Как могут люди, такие, как мы, знающие настоящую цену жизни и смерти, превращать в шутку что бы то ни было? Я знаю, мы иногда делаем вид, будто шутим, чтобы не пасть духом или не впасть в другую крайность. Разве я не вижу, старина, как ты всегда беспокоишься обо мне, как ты стараешься, чтобы я лучше работал. И неужели ты полагаешь, что я и сам не думаю об этом? Но ты не можешь мне помочь, – да, даже ты не можешь. Я должен идти своим путем до конца, идти один, на свой собственный страх и риск.

– Внимание, внимание!.. – проговорил Нильгаи.

– Вспомни, какой единственный случай из походов Нильгаи я никогда не зарисовывал в книгу Нунгапунга, – продолжал Дик, обращаясь к Торпенгоу, который был несколько озадачен последними словами Дика.

Действительно, в этом большом альбоме был один лист чистой белой бумаги, предназначенный для рисунка, которого Дик не захотел сделать. Он предназначался для изображения самого выдающегося подвига в жизни Нильгаи, когда тот, еще будучи молодым, позабыв о том, что он и телом и душой принадлежит своей газете, скакал сломя голову с бригадой Бредова, решившейся атаковать артиллерию Канробера, и находящиеся впереди нее двадцать батальонов пехоты, чтобы выручить 24-й германский пехотный полк, дать время решить судьбу Вионвилля и доказать, что кавалерия может атаковать, смять и уничтожить непоколебимую пехоту. И всякий раз, когда Нильгаи начинал раздумывать о том, что его жизнь сложилась неважно, что она могла бы быть лучше, что его доходы могли бы быть значительнее и совесть несравненно чище, он утешал себя мыслью о том, что он скакал с бригадой Бредова к Вионвиллю и участвовал в этом славном деле, и это помогало ему на другой день с легким сердцем участвовать в менее славных битвах.

– Я знаю, о чем вы говорите, – сказал Нильгаи серьезно, – и я весьма благодарен вам за то, что вы выпустили этот случай. Он прав, Троп, он должен идти своим путем.

– Может быть, я жестоко ошибаюсь, но в этом я должен убедиться сам, как должен сам обдумать и выносить каждую мысль, и не смею довериться никому, и это мучает меня больше, чем вы думаете. Мне очень больно, что я не могу уехать, поверьте, но я не могу, вот и все! Я должен делать свое дело и жить своей жизнью, потому что ответственность за то и другое лежит на мне. Только не думай, Торп, что я отношусь к этому легкомысленно или поверхностно. У меня есть и свои спички и своя сера, и я сумею сам устроить себе ад при случае.

После этого наступило неловкое молчание, и, чтобы прервать его, Торпенгоу вдруг спросил:

– А что сказал губернатор Южной Каролины губернатору Северной Каролины?

– Блестящая мысль! Он сказал: «Не пора ли нам выпить?..» Действительно, теперь как раз лучшее время для выпивки. Что вы скажете на это, Дик? – проговорил Нильгаи.

– Ну-с, я облегчил свою душу точно так же, как и ты, милый Бинки, облегчил свой рот от перьев.

Дик ласково потрепал собаку и продолжал:

– Вас засадили в мешок и заставили выбираться из него без всякого повода с вашей стороны, малютка Бинки, и это оскорбило ваши чувства. Но что же делать! *Sie volo sie jubeo, stet pro ratione voluntas...* Не фыркайте, пожалуйста, на мою латынь, Бинки. Желаю вам спокойной ночи!

И он вышел из комнаты.

– Вот, видите, я говорил вам, что всякая попытка вмешательства в его дела совершенно безнадежна. Он недоволен нами, сердит на нас.

– Нет, он стал бы ругаться со мной, если бы рассердился, я его знаю... И все же не могу понять, в чем тут дело. Его, несомненно, тянет бродяжничать, и вместе с тем он не хочет уехать. Я желаю только, чтобы ему не пришлось уехать тогда, когда он не будет хотеть, – сказал Торпенгоу.

Придя в свою комнату, Дик задал себе вопрос, стоит ли весь мир и все, что в нем есть и что можно узнать и увидеть, одной трехпенсовой монетки, брошенной в Темзу.

– Все это случилось потому только, что я видел море, и я болван, что размышляю об этом, – решил он. – А кроме того, наш медовый месяц может быть посвящен этому путешествию, с некоторыми ограничениями, конечно... Только... только я все же никак не подозревал, что море имеет надо мной такую власть. Я этого не чувствовал в то время, когда Мэзи была со мной. Это эти проклятые песни все наделали. А вот он опять начинает.

Но Нильгаи запел на этот раз только серенаду Джульетте Гаррика, и, прежде чем он успел ее допеть, Дик уже стоял на пороге комнаты Торпенгоу в довольно несовершенном костюме, но веселый, жаждущий выпить с приятелями и совершенно спокойный.

То прежнее настроение его родилось в нем и улеглось вместе с приливом и отливом моря у форта Килинг.

IX

Всю неделю Дик не брался ни за какую работу, а там настало опять воскресенье. Он всегда ждал и боялся этого дня, но с тех пор, как рыжеволосая девушка написала с него этюд, чувство боязни или опасения преобладало даже над желанием.

Оказалось, что Мэзи совершенно пренебрегла его советом поработать над линиями и усовершенствовать свой рисунок. Она увлеклась какой-то нелепой идеей фантастической головки, и Дику большого труда стоило совладать с собой на этот раз.

– Что пользы советовать или наставлять! – заметил он довольно едко.

– Ах, да ведь это же будет картина, настоящая картина! И я знаю, что Ками позволит мне послать ее в салон. Ты ничего не имеешь против, не правда ли?

– Я полагаю, что нет. Но ты не успеешь написать ее к этому времени.

Мэзи слегка смутилась; она почувствовала даже некоторую неловкость.

– Мы поедем во Францию. Я здесь зарисую саму идею картины и разработаю ее уже у Ками.

У Дика замерло сердце, и в этот момент он был близок к чувству отвращения к «королеве, которая не может ошибаться».

«И когда я думал, что успел уже кое-что сделать для нее, убедить ее в необходимости работать серьезно, она снова гоняется за мотыльками, думает, что поймает успех на лету... Просто с ума можно сойти!» Возражать и разубеждать ее не было возможности, так как рыжеволосая все время находилась в мастерской, и Дик ограничился только одними укоризненными взглядами.

– Я очень сожалею, – сказал он, – и мне кажется, что ты делаешь большую ошибку, Мэзи. Но какова же идея этой твоей новой картины?

– Я почерпнула ее из книги.

– Это плохо; из книг не следует заимствовать сюжеты; их надо брать из жизни или из своей души.

– Она взяла эту идею из книги «Город страшной ночи», знаете вы ее? – сказала за ее плечом рыжеволосая.

– Немного. Я был не прав, в этой книге действительно есть картины. Какая же из них овладела ее фантазией?

– Описание меланхолии.

Поднять не в силах два ее крыла,
Опущенные вниз, как у орла,
Ее гордыни царственное время.

И далее (Мэзи, налей, душечка, чай!):

Ее чело хранит тоски печать,
У пояса ключи, простой наряд хозяйки
Тяжел, как вылитый из стали,
И груб ее башмак, он должен без устали
Давить все слабое и жалкое вокруг.

В голосе девушки звучал нескрываемый гнев и пренебрежительная лень. Дик поморщился.

– Но ведь эта картина уже написана неким небезызвестным художником, Дюрером, – сказал он, – как это гласит поэма:

Три века с половиной протекли,
С тех пор, как этот своенравный гений...

Ты бы могла с таким же успехом написать по-своему Гамлета – это будет напрасная трата и времени и труда.

– Нет, не будет! – резко и решительно возразила Мэзи, ставя со звоном чашки на стол. – Я напишу ее во что бы то ни стало! Неужели ты не чувствуешь, какая превосходная картина должна выйти из этого?

– Какая к черту может выйти картина, когда нет надлежащей подготовки! У любого дурака может появиться идея. Но надо умение, чтобы выполнить ее, нужна подготовка, убежденность, сознание своей силы, а не погоня за первой попавшейся идеей.

Дик говорил все это сквозь зубы.

– Ты не понимаешь! – сказала Мэзи. – Я убеждена, что я могу написать эту вещь.

Позади снова раздался раздражающий Дика голос рыжеволосой:

– Она работает и день, и ночь,
Душой болея, – без признанья.
Ей воля сильная одна должна помочь
В работу претворить страданья.

– Мне кажется, что Мэзи хочет воплотить самое себя в этой картине.

– Восседающей на троне из отвергнутых картин? Нет, этого я не сделаю, дорогая моя. Меня пленила эта идея сама по себе. Ты, конечно, не любитель фантастических головок, Дик, и я не думаю, чтобы ты мог написать что-нибудь в этом духе. Тебе нужны кровь, мясо и кости.

– Что ж, это вызов? Если ты думаешь, что можешь написать «Меланхолию», которая была бы не просто печальной женской головкой, а чем-то более осмысленным и глубоким, то я могу написать ее лучше тебя, и я это сделаю. Что ты, собственно, знаешь о меланхолии? – Дик был глубоко убежден, что в настоящий момент он переживал в душе чуть ли не три четверти всей наполняющей мир скорби.

– Она была женщина, – сказала Мэзи, – и она страдала так много, что даже утратила способность страдать больше того, и стала смеяться надо всем, и тогда я написала ее и послала в салон.

При этом рыжеволосая встала и смеясь вышла из комнаты. А Дик смотрел на Мэзи как-то униженно и безнадежно.

– Не будем говорить о картине, – сказал он. – Но неужели ты действительно хочешь уехать к Ками на месяц раньше обычного срока?

– Это необходимо, если я хочу успеть закончить картину для салона.

– И это все, что тебе нужно?

– Конечно. Не будь же глупым, Дик.

– Но у тебя нет того, что нужно, чтобы написать эту картину; у тебя только одни идеи; идея и немного дешевого порыва, вот и все! Каким образом ты могла проработать десять лет при таких условиях, я положительно не понимаю... Итак, решено, ты действительно хочешь уехать на месяц раньше?

– Я должна прежде всего думать о моей работе.

– Твоя работа!.. Э-эх! Ну, да я не это хотел сказать... Ты, конечно, права; ты должна прежде всего думать о своей работе, а я думаю, что на эту неделю с тобой прошусь...

– Разве ты не выпьешь чаю?

– Нет, благодарю. Ты мне позволишь уйти, дорогая, не правда ли? У тебя нет ничего такого, что бы ты хотела, чтобы я сделал для тебя? Ну а упражняться в рисунке, изучать линии, – это неважно.

– Я хотела бы, чтобы ты остался, и мы вместе обсудили бы, как писать мою картину. Ведь если только всего одна картина обратит на себя внимание публики и критики, то тем самым будет привлечено внимание и к остальным моим картинам. Я знаю, что некоторые из них действительно хороши, но на них не обращают внимания. А тебе не следовало бы быть таким грубым со мной.

– Извини, мы другой раз поговорим о твоей «Меланхолии», в одно из будущих воскресений. Ведь у нас их остается еще четыре... да... одно, два, три, четыре... до твоего отъезда. Прощай, Мэзи.

Мэзи в раздумье стояла у окна студии, когда рыжеволосая девушка вбежала в комнату с немного побелевшими губами и каким-то застывшим выражением лица.

– Дик ушел, – сказала Мэзи, – а я как раз хотела поговорить с ним о моей картине. Правда, это очень эгоистично с его стороны?

Ее подруга раскрыла было рот, как бы собираясь что-то ответить, но тотчас же плотно сжала губы и молча погрузилась в чтение «Города страшной ночи».

Дик между тем обошел в парке бесчисленное количество раз вокруг того дерева, которое уже давно избрал поверенным своих дум и тайн. Он громко произносил проклятия, и когда бедность английского языка в этом отношении не предоставляла достаточного простора его излияниям, то он прибегал к арабскому языку, специально приспособленному для скорбных жалоб и излияний. Он был недоволен наградой за свою терпеливую и покорную службу, и так же был недоволен и собой, и он долго-долго не мог прийти к заключению, что королева не может быть не права.

«Это проигранная игра, – думал он. – Я для нее ничто, когда дело идет о какой-нибудь ее фантазии. Но когда в Порт-Саиде мы проигрывали, то удваивали ставки и продолжали играть. Пусть она пишет „Меланхолию“! Она не имеет ни творческой силы, ни проникновенности, ни надлежащей техники, а одно только желание писать. На ней лежит какое-то проклятие. Она не хочет изучать законы линий, потому что это труд; но воля у нее сильнее, чем у меня. Я заставлю ее понять, что могу победить ее даже в этой области, в этой ее „меланхолии“. Но и тогда она не полюбит меня. Она говорит, что я могу изображать только кровь, мясо и кости... а у нее, мне кажется, вовсе нет крови в жилах. Это какое-то бесполое существо! И все-таки я люблю ее. И должен продолжать любить ее, и если я смогу укротить ее разнузданное тщеславие, то сделаю это. Я напишу „Меланхолию“, которая будет действительно меланхолией, превышающей всякое представление, да! Я напишу ее сейчас же, теперь!»

Но оказалось, что выяснить и выработать идею не так-то легко и что он никак не мог отделаться от дум о Мэзи и об ее отъезде, даже на один час. Он обнаружил весьма мало интереса к грубым наброскам ее будущей картины, когда она показала их ему в ближайшее воскресенье. Воскресенья проносились быстро, и подходило то время, когда никакие силы не могли удержать Мэзи в Лондоне. Раза два он пробовал жаловаться Бинки на «ничтожество бесполох существ», но эта маленькая собачонка так часто слышала всякие жалобы и от Дика и от Торпенгоу, что на этот раз даже и ухом не повела.

Дик получил разрешение проводить девушек; они ехали через Дувр ночным пароходом и надеялись вернуться в августе, а на дворе был февраль, и Дик болезненно чувствовал, что с ним поступили жестоко. Мэзи была так занята укладкой своих вещей и картин, что у нее совершенно не было времени думать. В день отъезда Дик отправился в Дувр и потратил целый день на размышления о том, позволит ли ему Мэзи поцеловать себя на прощанье. Он размышлял, что мог бы силой схватить Мэзи, как, он видел не раз, хватают силой и увозят женщин в

Южном Судане; но Мэзи не дала бы увезти себя; она посмотрела бы на него своими холодными серыми глазами и сказала: «Как ты эгоистичен, право, Дик!» И тогда вся его смелость исчезла бы как дым. Нет, вернее просто попросить у нее этот поцелуй.

Мэзи была более чем когда-либо соблазнительна для поцелуя в этот вечер, когда она, выйдя из ночного поезда, вступила на пристань, где дул сильный ветер, в сером ватерпруфе и серой войлочной шапочке. Рыжеволосая была далеко не так интересна; глаза у нее как-то ввалились, лицо осунулось и губы пересохли. Дик присмотрел за погрузкой вещей на пароход и в темноте под мостиком подошел к Мэзи. Чемоданы и багаж спустили в трюм, и рыжеволосая девушка смотрела, как это делалось.

– Вам предстоит неприятный переезд; сегодня дует сильный ветер, – сказал Дик. – Полагаю, что мне можно будет приехать повидать тебя?

– Нет, ты не должен этого делать; я буду так занята. Впрочем, если ты мне будешь нужен, я тебе сообщу; но я буду писать тебе из Витри на Марне. У меня будет такая куча вещей, о которых мне нужно будет посоветоваться с тобой... Ах, Дик, ты был так мил, так добр ко мне!

– Благодарю тебя, родная... Но тем не менее это ни к чему не привело... не так ли?

– Я не хочу тебя обманывать. В этом отношении ничего не изменилось, но не думай, пожалуйста, что я не чувствую к тебе никакой благодарности. Я тебе, право, очень, очень благодарна за все.

– Будь она проклята, эта благодарность! – хрипло пробормотал Дик.

– Что пользы огорчаться? Ты знаешь, что я испортила бы тебе жизнь, точно так же, как ты испортил бы мою; помнишь, что ты говорил в тот день, когда ты так рассердился в парке? Одного из нас нужно сломить! Неужели ты не можешь дождаться этого момента?

– Нет, возлюбленная моя, я хочу тебя не сломленной, а такой, как ты есть, всецело моей! Мэзи покачала головкой и промолвила:

– Бедный мой Дик, что я могу сказать тебе на это?

– Не говори ничего! Позволь мне только поцеловать тебя, один только раз, Мэзи! Я готов поклясться тебе, что не попрошу второй раз. Тебе ведь это безразлично, а я, по крайней мере, знал бы, что ты мне действительно благодарна.

Мэзи подставила ему свою щеку, и Дик получил свою награду в полутьме под мостиком. Он поцеловал ее всего только один раз, но так как продолжительность поцелуя не была условлена, то поцелуй этот вышел долгий. Мэзи сердито вырвалась от него, и Дик остался стоять ошеломленный, дрожа всем телом.

– Прощай, дорогая, я не хотел тебя рассердить! Извини! Только береги свое здоровье и работай хорошо. Особенно над «Меланхолией». Я тоже собираюсь написать ее. Напомни обо мне Ками, а главное – остерегайся пить воду; во Франции везде плохая вода, а в деревнях в особенности. Напиши мне, если тебе что-нибудь понадобится. Прощай... Простись за меня с этой... как ты ее зовешь? рыжей девицей... И... нельзя ли получить еще один маленький поцелуй?... Нет. Ну, что же делать? Ты права... Прощай!

Пароход уже стал отходить, когда он сбежал с трапа на пристань, но он все еще сердцем следовал за пароходом.

– И подумать только, что ничто, ничто на свете не разлучает нас, кроме одного только ее упрямства!.. Положительно, эти ночные пароходы на Кале слишком малы; заставлю Торпа написать об этом в газете... Вон он уже начинает нырять, проклятый.

А Мэзи стояла на том месте, где ее оставил Дик, до тех пор, пока она не услышала за собой легкое судорожное покашливание. Глаза рыжеволосой девушки светились холодным блеском.

– Он поцеловал тебя! – сказала она. – Как ты могла ему позволить это, когда он для тебя ничто! Как ты посмела принять от него поцелуй?... Взять у него этот поцелуй! О, Мэзи! Пойдем скорее в дамскую каюту, мне так что-то... смертельно плохо...

– Да мы еще даже не вышли в открытое море, – возразила Мэзи. – Иди вниз, милая, а я останусь здесь. Ты знаешь, я не люблю запаха машины... Бедный Дик! Он заслужил один поцелуй, только один. Но я никак не думала, что он так напугает меня.

На другой день Дик вернулся в город как раз к завтраку, как он и телеграфировал, но, к величайшей своей досаде, он нашел на столе в студии одни пустые тарелки. Он заревел, как разъяренный медведь в сказке, и тогда появился Торпенгоу, сконфуженный и смущенный.

– Шшш, шшш! – прошептал он. – Дик, не шуми так! Я взял твой завтрак. Пойдем ко мне, и я покажу тебе, почему я это сделал. – Дик вошел в комнату друга и остановился на пороге удивленный: на диване лежала спящая девушка. Дешевенькая матросская шапочка, синее с белыми нашивками платьице, более приличное в июне, чем в феврале, с забрызганным грязью подолом, коротенькая кофточка, отделанная поддельным барашком и потертая на плечах, и стоптанные башмаки говорили сами за себя.

– Ах, старина, ведь это, право, непростительно! Ты не должен приводить сюда такого сорта особ. Ведь они крадут вещи из комнат.

– Согласен, это не совсем красиво, но я возвращался домой после завтрака, когда она, шатаясь, ввалилась в подъезд. Я подумал сперва, что она пьяна, но оказалось, что это обморок. Я не мог оставить ее там в этом состоянии и принес ее сюда наверх и отдал ей твой завтрак. Она теряла сознание от голода и сразу крепко заснула, едва только успела поесть.

– Хм, да... я имею некоторое представление об этом недуге. Вероятно, она питалась одними сосисками. Тебе следовало передать ее в руки полицейского, Торп, за попытку упасть в обморок в приличном доме. Бедняга! Взгляни ты на это лицо, ведь в нем ни тени развращенности, только легкомыслие. Простое, слабовольное, безотчетно простодушное, пустое легкомыслие. Это типичная голова... Заметь, как череп начинает проступать сквозь мышцы на скулах и висках.

– Какой бессердечный варвар! Не можем ли мы что-нибудь сделать для нее? Она действительно падала от голода, и, когда я дал ей есть, она накинулась на пищу, как дикий зверь. Это было ужасно!

– Я могу дать ей денег, которые она, вероятно, пропьет. Что, она долго еще будет спать?

Девушка, точно в ответ, открыла глаза и взглянула на мужчин с выражением испуга и в то же время известной наглости.

– Лучше вам? – спросил Торпенгоу.

– Да. Благодарю. Немного таких добрых джентльменов, как вы. Благодарю вас.

– Когда вы оставили работу? – спросил Дик, глядя на ее мозолистые, потрескавшиеся руки.

– А почему вы знаете, что я работала? Да, я была в услужении, это верно, но мне не понравилось.

– Ну а теперешнее ваше положение вам нравится?

– А как вы думаете, глядя на меня?

– Думаю, что нет. Пойдите, повернитесь, пожалуйста, лицом к окну.

Девушка послушно исполнила, что ей сказали, а Дик стал всматриваться в ее лицо так упорно и так внимательно, что она невольно сделала движение, будто хотела спрятаться за Торпенгоу.

– В глазах у нее есть нечто, – сказал Дик, расхаживая взад и вперед по комнате. – Глаза великолепные для моей цели. А глаза, в сущности, главное для любой головы. Она просто послана мне небом взамен... того, что у меня отнято. Теперь я могу приняться за работу серьезно. Очевидно, она мне послана небом. Да. Подымите, пожалуйста, ваш подбородок.

– Осторожнее, старина, ведь ты запугал ее до полусмерти, – заметил Торпенгоу, видя, что девушка вся задрожала от испуга.

– О, не позволяйте ему бить меня, сударь! Прошу вас, не позволяйте ему бить!.. Меня так жестоко избили сегодня за то, что я заговорила с мужчиной. И запретите ему смотреть на меня так; он недобрый... этот человек... Когда он на меня так смотрит, мне кажется, как будто я совсем раздета... мне стыдно...

Напряженные нервы девушки не выдержали, и она расплакалась, всхлипывая и вскрикивая, как ребенок. Дик распахнул окно, а Торпенгоу отворил дверь.

– Ну вот, – сказал Дик успокаивающе, – мой приятель может крикнуть полисмена, а вы можете выбежать в эту дверь, если понадобится. Никто не собирается вас трогать или бить.

Еще несколько секунд девушка продолжала всхлипывать, а затем попыталась рассмеяться.

– Никто вас не тронет и не сделает вам ни малейшего вреда, – продолжал Дик. – Слушайте меня хорошенько. Я то, что называется художник, по профессии. Вы знаете, что такое художники и что они делают?

– Они пишут красными, синими и черными чернилами вывески над лавками.

– Вот, вот!.. Но я еще не дошел до лавочных вывесок; их пишут академики; я же хочу написать вашу голову.

– Зачем?

– Затем, что она красива. И вот для этого вы будете приходить три раза в неделю в комнату на том конце площадки, по ту сторону лестницы, в одиннадцать часов утра, и я дам вам за это три фунта в неделю, за то только, что вы будете сидеть смирно, чтобы я мог вас рисовать. А вот вам один фунт вперед, в качестве задатка.

– Так, ни за что? Боже мой!.. – И, повертев в руках монету, она беспричинно расплакалась и затем сквозь слезы спросила: – И вы не боитесь, джентльмены, что я вас надую?

– Нет, только безобразные девушки обманывают. Постарайтесь запомнить это место, да, кстати, как ваше имя?

– Я Бесси... Просто Бесси... остальное ведь ни к чему. Ну а если хотите, то Бесси Брок, Стон-Брок... А вас как зовут? А впрочем, ведь никто все равно своего настоящего имени не называет, это так только.

Дик переглянулся с Торпенгоу.

– Мое имя Гельдар, а моего друга – Торпенгоу; вы непременно должны прийти сюда. Где вы живете?

– В Сусвотере, в комнате за пять шиллингов и шесть пенсов в неделю... А вы не смеетесь надо мной с этими тремя фунтами в неделю?

– Это вы увидите. И вот что, Бесси. Когда вы придете сюда в следующий раз, не накладывайте себе на лицо краски, у меня красок довольно каких угодно. Это только портит кожу.

Бесси гордо ушла, усердно вытирая накрашенную щеку рваным платком, а молодые люди при этом посмотрели друг на друга.

– Ты молодчина! – сказал Торпенгоу.

– Я боюсь, что я сделал глупость. Это совсем не наше дело – заботиться об исправлении этих Бесси Брок, и женщине какой бы то ни было совсем не место на нашей площадке.

– Может быть, она больше не придет.

– Придет, потому что думает, что здесь ее накормят и обогреют... Я уверен в том, что она вернется. Но только помни, старина, что она не женщина; это только моя модель, и ничего больше, потому смотри...

– Ну, вот еще! Какая-то беспутная мартышка – поскребок с подонков, и ты оберегаешь меня от нее?

– И тебя это удивляет? погоди, когда она немножечко откормится и с нее спадет этот жуткий страх, ты ее не узнаешь. Эти белокурые очень быстро оживают. Через неделю она будет

неузнаваема. Когда этот отвратительный страх уйдет из ее глаз, она будет слишком улыбающейся и счастливой для моей цели.

– Но ведь ты предложил ей приходить просто из милости, чтобы сделать мне удовольствие?

– Я не имею привычки играть с горячими углями, чтобы доставить кому-нибудь удовольствие. Она мне была послана небом, как я уже раньше сказал, чтобы помочь мне создать мою «Меланхолию».

– Никогда ничего не слышал об этой особе.

– Что пользы иметь друга, если нужно все свои мысли передавать ему в словах! Ты должен знать и угадывать, что я думаю. Ведь ты же слышал, что я в последнее время часто ворчал или мычал?

– Совершенно верно, но у тебя это ворчанье или мычанье означает решительно все, начиная от гнилого табака и кончая скаредными покупателями, и мне кажется, что в последнее время я не был особенно избалован вашим доверием.

– Да, но это была особенная душевная воркотня, и ты должен был догадаться, что это означало «меланхолию». – Дик взял Торпенгоу под руку и прошелся с ним молча взад и вперед по комнате, затем тихонько ткнул его в бок.

– Ну, теперь ты понимаешь? Постыдное легкомыслие этой Бесси и испуг в ее глазах, сливаясь с некоторыми деталями, выражающими скорбь, на которые мне раньше приходилось наталкиваться, и с теми, которые я видел в последнее время, создали в моем воображении известный образ... Впрочем, я не могу тебе это объяснить на голодный желудок.

– Признаться, я не возьму в толк, в чем тут суть, и мне кажется, что тебе лучше было бы придерживаться своих солдат, а не фантазировать над какими-то головками, глазками и т. д.

– Ты так думаешь?

И Дик пустился приплясывать, напевая:

Как их деньги восхищают,
Слышишь, как они смеются!
Но их шутки пропадают,
Едва деньги разойдутся.

Затем он пошел к столу и сел писать письмо Мэзи, в котором он на четырех страницах давал множество советов и наставлений и клялся приняться за работу, как только явится Бесси.

Она пришла, на этот раз ненарумянная и без всяких украшений, и то была беспричинно боязлива и робка, то опять слишком смела. Но когда она увидела, что от нее требуют только, чтобы она сидела смирно, она заметно успокоилась и принялась даже без особенного стеснения критиковать обстановку студии. Ей нравились тепло и уют и возможность отдохнуть от постоянного чувства страха. Дик сделал несколько набросков ее головы, но истинная идея «Меланхолии» еще не сложилась в его воображении.

– В каком беспорядке вы держите свои вещи! – сказала как-то Бесси, несколько дней спустя, когда она уже стала чувствовать себя в мастерской как у себя дома. – Надо полагать, что и ваше платье и белье в таком же виде; мужчины вообще не знают, кажется, для чего существуют пуговицы и тесемки.

– Я покупаю платье и белье готовое, чтобы носить, и ношу его, пока оно не станет негодным; а как делает Торпенгоу, я не знаю.

Бесси после сеанса прошла в комнату последнего и отыскала там кучу дырявых носков.

– Часть из них я зачиню сейчас, – сказала она, – а часть возьму домой. Знаете ли вы, что я весь день теперь сижу дома, ничего не делаю, точно барыня, а остальных девушек в доме даже и не замечаю, как будто это мухи! Я не люблю лишних слов, но живо умею осадить их, когда они

лезут ко мне со своими разговорами. Нет, право, сейчас мне живется очень приятно. Я запираю свою дверь на ключ, и они могут только выкрикивать бранные слова и разные прозвища сквозь замочную скважину, а я сижу себе как барыня и штопаю носки. Мистер Торпенгоу изнашивает свои носки и на носке, и на пятке сразу.

«От меня она получает три фунта в неделю, да еще пользуется моим приятным обществом и не заштопала мне ни одного носка; от Торпа она ровно ничего не получает, кроме случайного кивка мимоходом с того конца площадки, и перештопала ему все носки, – подумал Дик. – Эта Бесси настоящая женщина».

И он прищуренными глазами посмотрел на нее. Достаточное воспитание и спокойствие совершенно преобразили ее даже в это короткое время, как и предполагал Дик.

– Почему вы так смотрите на меня? – живо спросила она. – Не делайте этого – вы такой недобрый, такой гадкий, когда так смотрите. Вы презираете меня, не правда ли?

– В зависимости от того, как вы себя ведете.

Но Бесси вела себя примерно. Только заставить ее уйти после того, как сеанс кончился, было ужасно трудно; она не хотела уходить на улицу, серую, туманную, грязную; она предпочитала теплую, уютную, светлую студию и глубокое, мягкое кресло перед камином и кучу носков, требующих починки на коленях, как благовидный предлог для того, чтобы подольше остаться здесь. Затем приходил Торпенгоу, и тогда Бесси принималась рассказывать странные и удивительные истории из ее прошлого и еще более странные из настоящего. Потом она готовила им чай, как будто имела на то право, и раза два Дик поймал Торпенгоу на том, как он какими-то особенными глазами поглядывал на хорошенькую маленькую фигурку Бесси в то время, когда она хлопотала по хозяйству. И так как присутствие Бесси в их комнатах заставляло Дика страстно желать Мэзи, то он сразу угадал, в какую сторону клонятся мысли его друга. Бесси была до чрезвычайности заботлива по отношению к белью Торпенгоу, но говорила она с ним мало; впрочем, иногда они разговаривали на лестнице.

– Я был непростительно глуп, – сказал себе Дик. – Ведь знаю же я, как манит красный огонек человека, шатающегося по незнакомому городу; а наша жизнь здесь, во всяком случае, одинокая, эгоистичная, однообразная... Удивляюсь, что Мэзи этого совершенно не чувствует. Но выгнать отсюда эту Бесси я не могу. Лиха беда начало, а там – никогда не знаешь, чем окончится или где остановишься.

Однажды после затянувшегося сеанса Дик вздремнул и пробудился от звука прерывающегося женского голоса в комнате Торпа. Дик вскочил на ноги и мысленно воскликнул: «Что же мне теперь делать? Войти к нему сейчас неудобно. О, Бинки! Спасибо тебе, милейший!»

Собачонка, вырвавшись из комнаты Торпенгоу, распахнула дверь его комнаты и кинулась к Дик, чтобы занять его кресло у камина. Дверь так и осталась широко раскрытой, так как на нее не обратили внимания, и Дик мог видеть через площадку в полумраке сумерек Бесси, умолявшую Торпенгоу; она стояла подле него на коленях и обнимала его колени обеими руками.

– Я знаю... я знаю, – говорила она скороговоркой, – что нехорошо я это делаю... но я не могу ничего с собой поделать... и вы были так добры... так добры ко мне, и вы никогда не обращали на меня внимания, никогда не подавали мне никакого повода... а я так тщательно, так старательно чинила ваше белье, право... Я, конечно, не прошу вас жениться на мне, я не посмела бы даже подумать об этом... Но разве вы не могли бы взять меня... и жить со мной до тех пор, пока не явится законная миссис Торпенгоу?.. Я, конечно, могу быть только незаконной... я знаю, но я стала бы работать на вас, сколько моих сил хватит... И ведь я уже не так дурна внешне... Скажите, что вы согласны!..

Дик с трудом узнал голос Торпенгоу, когда тот ответил:

– Но, послушайте, ведь это невозможно... Я подневольный человек; меня каждую минуту могут услатить в любой конец света, если только где-нибудь разгорится война. Услатить в одну минуту без малейшего предупреждения, дорогая моя.

– Что же из этого? Так пусть хоть до тех пор, пока вас не ушлют. Ведь я не многого прошу, и если бы вы только знали, как я умею стряпать!.. – Она одной рукой обвила его шею и осторожно тянула его голову к себе.

– Ну, так до тех пор, пока меня не ушлют...

– Торп, – крикнул Дик через площадку, – поди сюда на минутку, старина, ты мне очень нужен!

Дик старался придать своему голосу обычный, спокойный тон, хотя сам волновался ужасно. «Боже мой, только бы он меня послушался!»

Что-то вроде проклятия сорвалось с губ Бесси. Вспуганная Диком, она кинулась вниз по лестнице, словно за нею гнались, а Дикуну показалось, что прошла целая вечность прежде, чем Торпенгоу вошел в мастерскую. Он прямо подошел к камину, положил голову на сложенные руки, лицом вниз, и застонал, как раненый зверь.

– Кой черт дал тебе право вмешиваться? – сказал он наконец после некоторого молчания.

– Кто из двоих вмешивается и во что? Ведь твой собственный здравый смысл подсказал тебе, что это непростительное безумство. Правда, искушение было велико, бедный святой Антоний, но ты вышел из него с честью...

– Я совершенно не мог видеть, как она ходила по комнатам, то прибирая то или другое, то хлопоча около чая, как будто это был ее дом и она была здесь хозяйка... Это меня ужасно волновало. Это так действует на одинокого человека, ты понимаешь? – почти жалобно закончил Торпенгоу.

– Ну, вот, теперь ты говоришь резонно. Да, это действует на человека, это я понимаю, но так как ты теперь не имеешь никакой надобности обсуждать недостатки двойного хозяйства, то знаешь ли ты, что ты теперь должен сделать?

– Нет, не знаю, но желал бы знать.

– Ты должен уехать куда-нибудь на сезон или просто прокатиться с целью освежиться. Поезжай в Брайтон, или Скарбороу, или Проуль-Пойнт, посмотреть, как уходят корабли и пароходы, а я позабочусь здесь о Бинки. И как это ни странно, но уезжай сейчас же. Помни наставление: никогда не меряйся с чертом, сила в его руках, берегись его! Итак, складывай свои вещи и уезжай.

– Я полагаю, что ты прав. Но куда мне ехать?

– И ты еще называешь себя специальным корреспондентом! Корреспондент прежде всего едет, а потом уже спрашивает куда.

Час спустя Торпенгоу уехал.

– Ты, вероятно, придумаешь, куда ехать, по дороге, – сказал Дик. – Поезжай в Эйстон для начала, и... ах, да, не забудь сегодня хорошенько напиться!

Проводив друга таким напутствием, Дик вернулся в студию и зажег побольше свечей, потому что ему казалось, что в этот день в комнатах было особенно темно.

– Ах, Иезавель! Легкомысленная маленькая Иезавель! Я знаю, что ты возненавидишь меня завтра... Бинки, поиди сюда, мой милый песик!

Бинки перевернулся на спину на ковре перед камином, а Дик задумчиво стал тормошить его ногой.

– Я говорил, что в ней нет ни тени безнравственности, я был не прав. Она сказала, что умеет хорошо стряпать. О, Бинки, если ты мужчина, то ты обречен на погибель, но если ты женщина и говоришь, что умеешь стряпать, то тебе нет места даже в самом аду!..

Х

– Веселая жизнь, нечего сказать! – сказал Дик спустя несколько дней. – Торпа нет; Бесси меня ненавидит; идея «Меланхолии» почему-то не возникает в моем воображении; письма Мэзи сухи и коротки; и в заключение мне кажется, что я страдаю несварением желудка. Скажи, Бинки, отчего у человека бывают головные боли и в глазах мелькают какие-то пятна? Давай-ка примем пилюлю от печени!

У Дика только что перед этим произошла довольно бурная сцена с Бесси. Она в пятидесятый раз упрекала его в том, что он заставил Торпенгоу уехать. Она признавалась, что ненавидит Дика, что является на сеансы исключительно ради денег.

– Мистер Торпенгоу в десять раз лучше вас! – объявила она в заключение.

– Совершенно верно; потому-то он и уехал. А я бы остался и ухаживал за вами.

– За мной? Желала бы я иметь вас в моей власти! Если бы я не боялась, что меня за это повесят, я бы убила вас, вот что бы я сделала! Да!.. Верите вы мне?

Дик только устало усмехнулся на это. Невесело жить с идеей, которая никак не хочет ясно оформиться, с маленьким терьером, который не умеет говорить, и женщиной, которая говорит слишком много. Он хотел было ответить ей, но в этот момент в одном углу мастерской поднялась словно какая-то пелена и заволокла ему глаза как бы тонким газом. Он протер глаза, но светло-серый туман не рассеивался.

– Проклятое расстройство пищеварения! Бинки, дружище, мы пойдем с тобой к доктору, нам никак нельзя пренебрегать глазами. Ведь это они нас кормят и доставляют также и косточки от бараньих котлет маленьким собачонкам.

Доктор, любезный, седовласый практикующий врач, молчал до тех пор, пока Дик не рассказал ему о серой пелене, застилающей ему глаза.

– Мы все нуждаемся время от времени в маленькой починке – защебетал он, – совершенно так, как любой корабль, дорогой сэръ; иногда пострадает корпус – и мы обращаемся к хирургу, иногда такелаж, и тогда ступайте к специалисту по нервным болезням, а бывает, что утомится часовой на мостике, тогда надо посоветоваться с окулистом... Я вам рекомендую пойти к окулисту, дорогой сэръ... Маленькая починочка и поправочка нам всем требуется время от времени, да. Непременно обратитесь к окулисту.

Дик отправился к окулисту, лучшему в Лондоне. Он был уверен, что Мэзи будет смеяться над ним, если ему придется носить очки.

– Я слишком долго пренебрегал указаниями желудка, от того и эти темные пятна перед глазами, Бинки; а вижу я так же хорошо, как и прежде.

В тот момент, когда он входил в полутемную переднюю перед кабинетом, где происходили консультации, на него наткнулся какой-то господин, и Дик успел уловить выражение его лица.

– Этот тип – писатель, у него та же форма лба, как и у Торпа; он кажется больным или болезненным; вероятно, – он сейчас услышал что-нибудь очень неприятное.

И когда он это подумал, им самим овладел невероятный страх, от которого у него перехватило даже дыхание, когда он входил в приемную окулиста, большую комнату с темными обоями и большими картинами на стенах. Среди них он заметил репродукцию одного из своих собственных набросков. В приемной было уже много больных, ожидавших своей очереди. Взгляд его упал случайно на ярко-красную с золотом книгу рождественских гимнов. Очевидно, у окулиста бывали и дети, и для их развлечения нужны были книги с крупной печатью.

– Варварски антихудожественная стряпня; судя по анатомии ангелов, книжка эта германского производства... – Он машинально раскрыл ее, и ему бросились в глаза стихи, напечатанные красным:

И было радостно Марии
На Сына своего смотреть,
Как возвращал слепым он зреньё
И им давал на мир глядеть,
Глядеть на мир и славить Бога,
С очей сорвавшего покров.
Святую Троицу прославим,
Хвала вовеки Ей веков!

Дик перечитывал эти стихи до тех пор, пока не пришла его очередь и доктор не склонился над его лицом, предварительно усадив его в кресло. Пучок света, направленный в его глаз, заставил его поморщиться. Доктор дотронулся пальцем до рубца у него на лбу, и Дик в нескольких словах объяснил ему происхождение этого рубца. Тогда доктор стал быстро сыпать словами, очевидно желая этим ненужным многословием затуманить истинный смысл своих слов. Дик уловил только слова «рубец», «лобная кость», «оптический нерв», «крайняя осторожность» и «отсутствие всякого умственного напряжения и беспокойства».

– Ваш приговор? – сказал он слабо. – Моя профессия – живопись; мне нельзя терять времени, скажите прямо, что вы думаете?

Снова из уст окулиста полился целый поток слов, но на этот раз их смысл был ясен.

– Дайте мне выпить чего-нибудь! – прошептал Дик.

Много приговоров произносилось в этой затемненной комнате, и приговоренные часто нуждались в подбадривании и подкреплении сил, и в руках Дика очутился стакан подслащенного бренди.

– Насколько я могу понять, – сказал Дик, закашлявшись от крепкого напитка, – вы называете это поражением глазного нерва и чем-то в этом роде, и это непоправимо. Но сколько вы мне можете дать срока, при условии соблюдении всякой осторожности?

– Может быть, год или около того.

– Боже правый! Ну, а если я не буду осторожен?

– Право, затрудняюсь сказать. Определить степень повреждения очень трудно; рубец уже старый, а кроме того, действие слишком яркого света пустыни... усиленная работа, чрезмерное напряжение зрения... право, при таких условиях я ничего не могу сказать.

– Простите, это является для меня такой неожиданностью. Если позволите, я посижу здесь минутку и затем уйду... Вы были очень добры, сказав мне правду; для меня это крайне важно. И без малейшего предупреждения, так-таки без малейшего предупреждения... Благодарю вас.

Дик встал и вышел на улицу, где был восторженно встречен Бинки, дожидавшимся его у подъезда.

– Плохо наше дело, Бинки, очень плохо, хуже и быть не может! Пойдем, дружок, в парк и обдумаем там свое положение.

И они направились к тому дереву, которое было так хорошо знакомо Дику, и сели пораскинуть мыслями, сели потому, что у Дика тряслись колени и что-то сосало под ложечкой, точно от затаенного чувства страха.

– Как могло это произойти так вдруг?... Словно обухом по голове! Ведь это значит заживо умереть, Бинки. Через год, если быть чрезвычайно осторожным, мы погрузимся в вечный беспросветный мрак и не будем никого видеть и не заработаем ничего, хотя бы мы прожили до ста лет...

Бинки слушал внимательно и весело помахивал хвостиком.

– Бинки, нам с тобой следует подумать, хорошенько подумать. Посмотрим, каково быть слепым. Дик зажмурил глаза, и огненные круги и искры замелькали у него перед глазами. Но когда он взглянул в глубь парка, то зрение его казалось совершенно нормальным. Он прекрасно видел все до мельчайших подробностей, пока у него опять не зарябило перед глазами и не появились огненные кольца и вспышки.

– Нам что-то совсем нехорошо, милый песик; пойдем домой. Хоть бы Торп вернулся!

Но Торп в это время находился на юге Англии, где он вместе с Нильгаи осматривал доки, и писал Дику короткие и таинственные письма.

Дик никогда никого не просил разделить с ним его радости или горе. И, сидя в одиночестве в своей студии, он рассуждал теперь о том, что если ему грозила слепота, то все Торпенгоу в мире не могут ему помочь, и ничего с этим не поделаешь.

– Не могу же я заставить его прервать его поездку для того, чтобы он сидел здесь и сочувствовал мне. Я должен один справиться с этой бедой! – сказал он, лежа на диване, нервно покусывая ус и мысленно спрашивая себя, каков будет этот вечный мрак, который грозит ему. И вдруг ему вспомнилась странная сцена в Судане: солдата прокололо почти насквозь широкое арабское копье; в первую минуту он не ощутил боли, но, взглянув на себя, он увидел, что исходит кровью, и лицо его приняло такое глупо-недоумевающее выражение, что и Торп и Дик, еще не успевшие отдышаться после схватки, в которой они бились не на жизнь, а на смерть, громко и неудержимо расхохотались, и пораженный насмерть солдат тоже, казалось, собрался присоединиться к ним. Но в тот момент, когда его губы раскрылись для жалкой бессмысленной улыбки, предсмертная судорога исказила его лицо, и он со стоном упал им под ноги. Дик и теперь засмеялся, припомнив этот момент. Это так походило на то, что теперь случилось с ним самим. «Но только мне дана отсрочка подлиннее», – сказал он и стал ходить по комнате взад и вперед, сперва довольно спокойно, а затем ускоряя шаг, под влиянием охватывающего его чувства страха. Ему казалось, будто какая-то темная тень стояла за его спиной и заставляла его двигаться вперед, а у него перед глазами были только вращающиеся круги, кольца и прыгающие огненные точки.

– Надо нам успокоиться, Бинки, непременно успокоиться. – Он говорил вслух, чтобы отвлечься. – Это совсем неприятно, но что же нам делать? Нам необходимо что-нибудь делать, потому что времени у нас мало. Я не поверил бы этому даже сегодня утром, но теперь все стало иначе. Скажи, Бинки, где находился Моисей, когда свет погас?

Бинки усмехнулся широкой усмешкой, растянувшей его рот от уха до уха, как и подобает породистому терьеру, но при этом ничего не сказал.

Дик отер пот со лба и продолжал:

– Что бы мне сделать? За что взяться?.. У меня нет совершенно никаких мыслей; я даже не могу связно думать, но я должен что-нибудь сделать, иначе я сойду с ума!

И он снова продолжал ходить лихорадочно торопливыми шагами по студии, останавливаясь время от времени, чтобы вытащить давно заброшенные холсты или старую записную книжку с набросками. Он инстинктивно искал спасения в своей работе, как в чем-то, что не могло ему изменить.

– Ты не годишься, и ты тоже не годишься, – приговаривал он, разглядывая один набросок за другим. – Не будет больше солдат, потому что я не могу теперь писать их как следует. Мне самому смерть пришла.

Начало смеркаться, а Дику показалось одно мгновение, что это полумрак слепоты неожиданно подкрался к нему.

– Аллах Всемогущий! – воскликнул он отчаянным голосом. – Помогите мне пережить время ожидания, а я покорно преклонюсь перед карой, когда она придет! Укажи мне, что я могу сделать теперь, прежде чем свет угаснет?

Ответа не было. Дик подождал, пока ему немного удалось овладеть собой. Руки его тряслись, губы дрожали, пот крупными каплями катился у него по лицу. Страх душил его, страстное желание работать вызывало лихорадочное возбуждение, понуждавшее его сейчас же приняться за работу и создать нечто исключительное, и вместе с тем он терял голову от бешенства, потому что ум его упорно отказывался работать в другом направлении, не будучи в состоянии освободиться от единственной неотвязной и докучливой мысли о грозящей ему слепоте.

«Что за унижительное зрелище! – подумал он. – Как я рад, что Торпа нет, и что он этого не видит. Доктор сказал, что следует избегать всякого умственного напряжения и возбуждения».

– Поди сюда, Бинки, дай я тебя приласкаю.

Бинки завизжал, так как Дик чуть было не задушил его, но затем, прислушавшись к его голосу в темноте, тотчас понял своим собачьим чутьем, что ему никакая опасность не грозит, и успокоился.

– Аллах милосерден, Бинки, милосерден и добр, как только мы могли бы желать, но об этом мы с тобой еще потолкуем. Все эти этюды головы Бесси были бессмыслицей и чуть было не заманили впросак твоего друга и хозяина. Теперь идея «Меланхолии» стала для меня ясна как день. В этой головке будет Мэзи, потому что я никогда не назову ее своей; и Бесси, конечно, тоже, потому что она знает, что такое меланхолия, хотя и сама не сознает того, что она знает, и все это завершится сдержанным жутким смехом уже надо мной. Должна ли она зло смеяться или же весело усмехаться? Ни то, ни другое. Она просто будет смеяться с холста так, что всякий, кто когда-либо изведает горе, будь то мужчина или женщина, поймет, как сказано в поэме:

Поймет ее печаль, проникнется участием
Ко всем страданиям ее молодой души.

И это лучше, чем писать эту головку исключительно только в пику Мэзи; теперь я могу написать эту «Меланхолию», потому что я понял и почувствовал ее нутром. Бинки, я сейчас подвешу тебя за хвост. Ты будешь для меня оракулом. Пойди сюда, песик!

Бинки с минуту провисел на хвосте вниз головой, не пикнув.

– Ну, умница, славный маленький пес, не запищал, когда тебя подвесили. Это доброе предзнаменование.

Бинки поспешил занять свое место на стуле, и каждый раз, когда он подымал глаза, он видел Дика, который ходил взад и вперед по мастерской, потирая руки, посмеиваясь себе под нос. В эту ночь Дик написал Мэзи длинное письмо, преисполненное самой нежной заботы о ее здоровье, но почти ничего не говоря о своем, и во сне ему снилась «Меланхолия», которой предстояло родиться на его холсте. И до самого утра он ни разу не вспомнил о том, что с ним должно было случиться в недалеком будущем.

Он принялся за работу, тихонько насвистывая, и был всецело поглощен сладким наслаждением творчества, которое не часто выпадает на долю человека для того, чтобы он не возгордился и не возомнил себя равным Богу и не захотел умереть, когда придет его час. Дик забыл и Мэзи, и Торпенгоу, и Бинки, но не забыл раздражить Бесси, которую, впрочем, очень нетрудно было раздражить и вызвать в ее глазах гневный блеск, который ему был нужен. Он очертя голову окунулся в работу и совершенно не думал о том, на что был обречен врачом; его захватила картина, и все окружающее, внешнее, потеряло всякую власть над ним.

– Вы сегодня что-то веселы и довольны, – заметила Бесси.

Дик в ответ на это только описал в воздухе какие-то мистические круги своим муштабелем и подошел к буфету, чтобы выпить.

Вечером, когда возбужденное состояние, вызванное в нем работой, стало проходить, он опять подошел к буфету и после нескольких повторных возвратов к этому буфету пришел к убеждению, что окулист его обманул, так как он прекрасно видел, и решил, что сможет создать

для Мэзи уютное гнездышко, и что волей или неволей она в конце концов все же станет его женой. Правда, это счастливое настроение прошло к утру, но буфет и то, что было в нем и на нем, были в его распоряжении. Он снова принялся за работу, но глаза изменяли ему: в них мелькали то круги, то искры, то темные пятна, пока он не прибегнул к содействию буфета, и тогда «Меланхолия» как на холсте, так и в его представлении показалась ему вдвое прекраснее, чем раньше. Он чувствовал себя свободным от всякой ответственности, как люди, обреченные врачом на смерть, но еще вращающиеся среди себе подобных с затаенным ядом недуга в груди; и так как чувство страха только отвлекает то малое время, какое им остается для того, чтобы наслаждаться жизнью, то они гонят всякое чувство и чувствуют себя беззаботно счастливыми. Дни проходили за днями, не принося никаких особенных перемен. Бесси аккуратно приходила в свое время, и хотя Дику казалось, что ее голос доносится до него откуда-то издалека, лицо ее было всегда близко-близко, и «Меланхолия» выступала на холсте в образе женщины, изведавшей всю горечь скорби мира и насмехавшейся над нею. Правда, что углы мастерской постоянно окутывались серым туманом или дымкой и тонули во мраке, что темные пятна перед глазами и боль в лобной части головы ему сильно мешали и раздражали и что читать письма Мэзи и отвечать на них становилось все труднее, но гораздо хуже было то, что он не мог рассказать о своей горе и не смел посмеяться над ее «Меланхолией», которая должна была бы быть готова и все не заканчивалась. Но напряженная работа в течение дня и безумные сны по ночам искупали все, а буфет с тем, что находилось на его полках, был его лучшим другом и утешителем в эти дни. Бесси была в самом скверном расположении духа. Она кричала от бешенства, когда Дик вглядывался в нее прищуренными глазами. Она или обижалась, или следила за ним с видимым отвращением, но почти ничего не говорила.

Торпенгоу отсутствовал целых шесть недель. Бестолковое письмо возвестило о его возвращении.

«Новости, большие новости! – писал он. – Нильгаи и Кинью знают об этом; мы все вернемся в четверг. Приготовь завтрак и почистись».

Дик показал Бесси это письмо, и она снова обрушилась на него со злейшими попреками в том, что он уснул Торпенгоу и загубил ее жизнь, которая так хорошо уже налаживалась.

– Ну, – сказал ей на это довольно грубо Дик, – ваше настоящее положение, во всяком случае, лучше, чем когда вы должны были навязывать ваши ласки всякой пьяной скотине на улице! – И при этом он почувствовал, что спас Торпенгоу от великого искушения.

– Я, право, не знаю, хуже ли это, чем сидеть часами с пьяной скотиной в студии! – огрызулась она. – Вы ни разу не были трезвы за эти последние три недели. Вы все время тянули виски, и при этом вы думаете, что вы лучше меня!

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Дик.

– Что я этим хочу сказать? Это вы увидите, когда вернется мистер Торпенгоу.

Ждать пришлось недолго. Торпенгоу столкнулся с Бесси на лестнице, но не обратил на нее никакого внимания. У него теперь были новости, которые были для него гораздо важнее всяких Бесси, а за ним подымались Кинью и Нильгаи, громко призывая Дика.

– Он пьян в стельку, – прошептала Бесси мимоходом. – Он почти целый месяц пьет без просыпа. – И она крадучись последовала за мужчинами, чтобы услышать их приговор Дику.

Они вошли в студию веселые и радостные, и были встречены слишком даже осунувшимся, исхудалым, сторбившимся человеком с заметной синеваой около ноздрей, с поникшими плечами и странным, тревожно бегающим взглядом исподлобья. Вино делало свое дело так же усердно, как и Дик.

– Да ты ли это? – спросил Торпенгоу.

– Все, что от меня осталось, – по привычке отшутился Дик. – Садитесь, друзья. Бинки, слава Богу, совершенно здоров, а я это время усердно работал. – И он вдруг пошатнулся на ногах.

– Да ты так скверно еще никогда не работал во всю свою жизнь! Боже правый, да ты пьян!..

И Торпенгоу многозначительным взглядом посмотрел на своих приятелей, и те встали и отправились завтракать в другое место. Тогда он стал говорить, но так как упреки священны и слишком интимны, чтобы их печатать, а фигуры и метафоры, которыми Торпенгоу уснащал свою речь, отличались крайней откровенностью и даже непристойностью, а презрение вообще не поддается описанию, то читатели так и не узнают что именно было сказано Дику, который сидел, моргая глазами, морщась и теребя свои пальцы. Однако по прошествии некоторого времени провинившийся почувствовал потребность в восстановлении до некоторой степени чувства уважения к своей особе. Он был совершенно уверен, что он несколько не погрешил против добродетели, и на это у него были причины, которых Торпенгоу не знал. Он сейчас объяснит ему. Он встал, постарался выпрямиться и стал говорить, глядя в лицо, которое он едва мог разглядеть.

– Ты прав, – сказал он, – но прав и я тоже. После твоего отъезда у меня что-то случилось с глазами. Я пошел к окулисту, и он пустил мне пучок света в глаза. Это было уже давно. И тогда он сказал: рубец на лбу, сабельный удар – повреждение оптического нерва... Заметь это. Итак, я должен ослепнуть. Но мне надо еще успеть сделать одну работу, прежде чем я окончательно ослепну, и мне кажется, что я непременно должен ее сделать. Я уже плохо вижу теперь, но, когда я пьян, я вижу лучше. И представь себе, я даже не знал, что я пьян до тех пор, пока мне этого не сказали. Но тем не менее я должен продолжать мою работу. Если ты хочешь ее видеть, вон она на мольберте, посмотри. – Он указал на далеко еще не законченную «Меланхолию» и ожидал похвал и одобрения.

Торпенгоу, однако, ничего не сказал, а Дик начал слабо всхлипывать, частью от радости, что Торпенгоу вернулся, частью от сокрушения над своими греховными поступками, если только это были действительно дурные, греховные поступки, а также и от ребяческой обиды из-за задетого самолюбия, потому что Торпенгоу ни единым словом не похвалил его удивительной картины.

Бесси все это время подсматривала в замочную скважину и увидела, что оба друга после этого долго молча ходили взад и вперед по комнате, как бывало, и что Торпенгоу обнял Дика за плечи и смотрел на него растроганно и с любовью. Тогда у Бесси вырвалось такое непристойное слово, что даже Бинки сконфузился и отскочил в сторону, тогда как до тех пор он терпеливо дожидался на площадке, когда выйдет его хозяин.

XI

Это было на третий день по возвращении Торпенгоу, у которого было очень тяжело на душе.

– Неужели ты хочешь меня уверить, что ты не видишь и не можешь работать без виски? Обычно бывает наоборот – вино туманит зрение.

– Может ли пьяница убедить кого-нибудь даже и своим честным словом?

– Да, если он был до того таким хорошим человеком, как ты.

– В таком случае, клянусь тебе честью! – сказал Дик как-то особенно торопливо, пересохшими, горячими губами. – Я едва вижу твое лицо; ты продержал меня трезвым двое суток, и я не сделал ничего за эти два дня. Ради Бога, не удерживай меня больше; ведь я не знаю, когда мои глаза окончательно изменят мне, а темные пятна и огненные круги и искры и боль в голове становятся все сильнее, и я клянусь тебе, что я вижу хорошо, когда я умеренно выпил, когда я на взводе, как ты выражаешься. Дай мне еще всего только три сеанса с Бесси и столько бренди, сколько мне надо, и картина будет окончена. Я не могу убить себя в три дня, это пустяки; в худшем случае это может подействовать до некоторой степени на мое здоровье – вот и все.

– Ну а если я тебе дам эти три дня, можешь ты мне обещать, что по прошествии их ты бросишь и работу, и то... другое... хотя бы даже картина и не была дописана?

– Нет, не могу обещать этого! Ты не знаешь, что для меня значит эта картина. Но ты, конечно, можешь призвать на помощь Нильгаи, и вы вдвоем можете повалить меня и связать, и я не стал бы бороться с вами из-за виски, но из-за моей работы я буду бороться, сколько хватит силы.

– В таком случае, продолжай. Я даю тебе три дня, но знай, что ты мне этим надрываешь душу.

И Дик принялся за работу с лихорадочной поспешностью человека, одержимого каким-то нестерпимым зудом, и демон хмеля разгонял темные пятна, искры и круги перед его глазами. «Меланхолия» была уже почти окончена и явилась именно тем, или почти тем, чем он желал ее видеть. Дик шутил с Бесси, которая опять назвала его пьяной скотиной, но на этот раз ее слова на него не произвели впечатления.

– Вы не можете этого понять, Бесси; мы теперь, так сказать, в виду берега, то есть почти у цели, и скоро мы успокоимся на лаврах и будем думать о том, что совершили. Я уплачу вам за целых три месяца, когда картина будет дописана, а в следующий раз, когда у меня опять будет работа... впрочем, об этом не стоит говорить. Неужели трехмесячная зарплата не заставит вас несколько меньше ненавидеть меня?

– Нет, нисколько! Я вас ненавижу и всегда буду ненавидеть вас. Мистер Торпенгоу даже не хочет теперь и говорить со мной; он теперь только и делает, что роется в атласах, географических картах и пузатых книжках в красных переплетах.

Бесси ничего не сказала Дикю о том, что она пыталась снова повести осаду на Торпенгоу, и что он, выслушав до конца ее страстные мольбы и увещевания, в заключение поцеловал ее и выставил безо всякой церемонии за дверь, посоветовав ей не быть дурочкой. Большую часть своего времени он проводил теперь с Нильгаи, и они почти исключительно говорили о войне, предстоящей в недалеком будущем, о фрахтовке транспортных судов, о тайных и деятельных приготовлениях в доках и тому подобных вещах. Дика он не хотел видеть до тех пор, пока не будет закончена его картина.

– Он сейчас пишет превосходную вещь, – сказал он Нильгаи, – и совсем не в его обычном жанре, но ради этой картины он напивается до чертиков.

– Ничего, не мешайте ему. Когда он придет в себя, мы увезем его отсюда подышать свежим воздухом. Бедный Дик! Но, признаюсь, не позавидую и вам, когда его глаза ему изменят.

– Да... Мне кажется, что в данном случае можно только сказать: «Помоги, Господи, нам, грешным!» Хуже всего то, что никто не знает, когда это может произойти, и мне кажется, что именно эта неизвестность и этот висящий над ним страшный приговор и толкнули Дика на пьянство, больше чем что-либо.

– Как бы ослабился теперь тот араб, что рассек ему тогда голову своим ятаганом, если бы узнал о последствиях своего удара!

– Пусть скалит зубы, коли может; он тогда же ведь был убит, но в данном случае это плохое утешение.

На третий день после полудня Торпенгоу услышал, что Дик зовет его.

– Я кончил! – кричал он. – Картина совсем готова! Иди скорее! Ну, разве это не красота? Я спустился в ад, чтобы создать ее; но разве она этого не стоит?

Торпенгоу смотрел на головку смеющейся женщины с пышными алыми губами и глубокими впалыми глазами.

– Кто научил тебя такой манере писать? – спросил Торпенгоу. – Ни сама тема, ни приемы трактовки, ни даже манера письма не имеют ничего общего с твоей обычной работой. И что это за лицо? Что за глаза? Какая в них наглость и самоотверженность! – И бессознательно Торп откинул назад голову и засмеялся вместе с картиной. – Несомненно, она видела всю игру жизни, видела все до конца – и верно, не сладкой была ее доля в этой игре. Но теперь ей все равно, – она смеется надо всем. Не правда ли, это твоя мысль?

– Именно.

– Откуда ты взял этот рот и подбородок? Во всяком случае, не у Бесси.

– Нет, это я взял у другой... Но скажи, разве эта картина не хороша? Не дьявольски хороша? Ну, разве она не стоила проклятого виски? И я написал ее. Один я мог написать ее, и это лучшее из всего, что я когда-либо написал. – Он дышал громко и порывисто. – Боже правый, что бы я мог создать лет через десять, если я мог написать эту вещь теперь! Кстати, как она вам нравится, Бесси?

Девушка презрительно закусил губу. Она ненавидела теперь Торпенгоу, потому что он, войдя, не заметил ее; она была зла до бешенства.

– Мне кажется, что это самая безобразная, самая отвратительная мазня, какую я когда-либо видела, – сказала она и отвернулась.

– Многие кроме вас скажут, быть может, то же, что и вы, сударыня, – сказал Торпенгоу. – Но скажи мне на милость, Дик, в этом лице есть что-то жестокое, что-то змеиное в этом повороте головки, чего я никак не могу понять.

– Это своего рода уловка, – сказал Дик, посмеиваясь от радости и восхищения, что его так полно, так тонко поняли. – Я, видишь ли, никак не мог удержаться от этого маленького фанфаронства или хвастовства. Эта французская уловка, которой ты не поймешь, если тебе не объяснить. Это достигается тем, что голова слегка откинута или запрокинута, и одна сторона лица чуточку, самую чуточку, укорочена от подбородка до верхнего края левого уха. И кроме того, несколько усилена тень под ушной мочкой. Это, конечно, что-то вроде фокуса, но я считал себя вправе позволить себе эту маленькую вольность. Что за красота!

– Аминь! Это действительно красота, я это чувствую.

– И всякий, кто знал горе, почувствует это. Он прочтет в свое горе, и свою скорбь в этом лице, и когда он проникнется жалостью к себе, то закинет назад голову и засмеется, как она... Я вложил в эту картину всю муку моего сердца и весь свет очей моих и не забочусь и не думаю о том, что будет дальше... Я устал, я смертельно устал. Я думаю немного уснуть теперь, а ты убери виски, оно мне больше не нужно; оно отслужило свою службу, и дай Бесси тридцать шесть фунтов и еще три в придачу, я ей обещал, и завесь картину.

Дик растянулся на диване и заснул, едва успел договорить последние слова. Лицо его было бледно и изнурено. Бесси попробовала взять Торпенгоу за руку, чтобы привлечь к себе его внимание.

– Неужели вы никогда больше не станете разговаривать со мной? – спросила она, но Торпенгоу смотрел на Дика и, казалось, не слышал ее.

– Какая бездна тщеславия в этом человеке! С завтрашнего дня я заберу его в руки и сделаю из него большого человека. Он того стоит. А?.. Что такое, Бесси?..

– Ничего. Я приберу здесь немного и уйду. Вы не могли бы отдать мне плату за три месяца, как он сказал, теперь же? Ведь он говорил вам об этом.

Торпенгоу молча написал ей чек и ушел к себе. Бесси прибрала мастерскую, приоткрыла дверь, чтобы можно было спастись бегством в случае надобности, вылила полбутылки скипидара на пыльную тряпку и принялась злобно тереть ею лицо «Меланхолии». Но краска недостаточно быстро стиралась. Тогда она взяла скребок, которым счищают краски с палитры, и принялась с ожесточением скоблить им картину, протирая сцарапанные места мокрой скипидарной тряпкой. Через пять минут чудесная картина превратилась в бесформенное пятно красок. Тогда она кинула испачканную красками пыльную тряпку в огонь топившейся печки, показала язык спящему Дик и, прошептав: «Вот тебе, дурачина!» – выбежала из комнаты и спустилась вниз по лестнице, не оглядываясь назад. Она никогда больше не увидит Торпенгоу, но, по крайней мере, она оплатила человеку, который встал поперек дороги осуществления ее желания и который имел привычку высмеивать ее. Мысль о полученном чеке только усугубила ее злорадное торжество, в то время как она переправлялась на ту сторону Темзы, по пути к ее родному кварталу.

Дик проспал до позднего вечера, когда Торпенгоу пришел и перетащил его с дивана на кровать. Глаза у него горели, и голос был хриплый, когда он заговорил.

– Давай посмотрим еще раз на картину, – сказал он настойчиво, как капризный ребенок.

– Ты ложись в постель, – решительным тоном заявил Торпенгоу, – ты совсем болен, хотя ты, быть может, и не осознаешь этого, потому что ты вынослив, как кошка.

– Завтра я буду совсем молодцом, увидишь. Покойной ночи!

Проходя по мастерской, Торпенгоу мимоходом приподнял занавеску, которой была завешена картина, и чуть было не выдал себя невольным криком: стерта! Все выцарапано, смазано... уничтожена, окончательно уничтожена чудесная картина! Если Дик узнает об этом сегодня или завтра, он сойдет с ума – он и так уже на грани помешательства. Это... эта гадина Бесси! Только женщина могла решиться на такое дело, и когда даже чернила на его чеке еще не успели высохнуть! С Диком сделается припадок буйного помешательства завтра... и все это по моей вине, потому что мне вздумалось вытащить из грязи и нищеты подобную тварь! О, мой бедный Дик, мой бедный Дик! Господь слишком жестоко карает тебя!

Дик не мог заснуть в эту ночь, отчасти от радости и чувства удовлетворения и отчасти от того, что вращающиеся огненные круги превратились теперь в пламенеющие извергающиеся вулканы.

– Пускай, – сказал он, – будь, что будет! Делайте со мной, что хотите!

И он лежал смиренно на спине и глядел в потолок, а в жилах его пробежал лихорадочный огонь продолжительного опьянения. Мысли и образы в диком вихре кружились в его голове, сознание боролось с пьяным бредом, и горячие руки судорожно сжимались. Ему чудилось, что он пишет лицо «Меланхолии» на вертящемся куполе, освещенном тысячами огней, и что все его чудесные мысли воплотились в странные образы и стоят там внизу, под тонкой дощечкой, на которой он качается у купола, и громко прославляют его. И вдруг что-то со звоном лопнуло или порвалось у него в висках, точно слишком сильно натянутая струна или тетива, и светящийся купол вдруг точно провалился, и он остался один в густом мраке.

– Я засыпаю, – решил он. – Как темно в комнате!.. Зажгу-ка я лампу да взгляну на «Меланхолию». Сегодня должна была бы быть луна...

В этот момент Торпенгоу услышал, что его зовет какой-то совершенно незнакомый ему голос, в котором слышится безумный страх, от которого у человека зубы стучат.

«Он посмотрел на картину!» – было первоею мыслью Торпенгоу в тот момент, когда он со всех ног бросился в мастерскую. Дик сидел на кровати и размахивал руками в воздухе.

– Тори, Торп! Где ты? Ко мне, ради Бога!

– Что случилось?

Дик уцепился за его плечо.

– Случилось!.. Я лежал здесь во мраке, Бог знает, сколько времени, а ты не слышал меня... Я так звал тебя... Торп, ради Бога, не уходи от меня, старина! Кругом так темно, так страшно темно!.. Беспросветно темно!..

Торпенгоу поднес свечу почти к самому лицу Дика, но в его глазах не засветился огонь. Тогда он зажег газ, и Дик услышал, как вспыхнуло пламя; при этом пальцы его впились с такою невероятною силой в плечо Торпенгоу, что тот невольно слегка вскрикнул.

– Не оставляй меня, Торп! Ведь ты не оставишь меня одного теперь? Не правда ли? Я ничего не вижу – понимаешь? Все черно, совершенно черно, и мне кажется, что я проваливаюсь в эту бездонную черноту, в этот ужасающий мрак.

– Мужайся, Дик! Надо быть спокойным, – говорил Торпенгоу, обняв Дика рукой и тихонько раскачиваясь с ним взад и вперед.

– Так хорошо!.. Теперь не говори ничего; если я буду сидеть очень спокойно некоторое время, то мрак этот рассеется. Кажется, он уже начинает редеть... Тш... тш!

Дик напряженно сдвинул брови и с упорным отчаянием смотрел перед собой. Торпенгоу замерз в одном белье.

– Можешь ты побыть так одну минуточку? – спросил Торпенгоу. – Я принесу себе халат и туфли.

Дик ухватился обеими руками за изголовье кровати и ждал, чтобы тьма рассеялась.

– Как ты долго! – крикнул он, услышав, что Торпенгоу вернулся. – Все тот же мрак. Что ты такое притащил?

– Качалку, одеяло... подушку. Буду спать здесь, подле тебя. Ложись и ты, утром тебе станет лучше.

– Нет! – В голосе его слышался вопль. – Боже мой, я ослеп! Окончательно ослеп, и этот мрак не рассеется никогда.

Он сделал движение, словно хотел выскочить из кровати, но Торпенгоу обхватил его обеими руками и прижался подбородком к его плечу, так что он едва мог дышать, и, слабо сопротивляясь, он повторял одно только слово: ослеп! ослеп!

– Мужайся, Дик, мужайся, мой дорогой, – говорил ему из мрака знакомый густой бас. – Не кланяйся пулям, старина, а то они подумают, что ты их боишься. – И при этом объятия друга становились все крепче и крепче. Оба они тяжело дышали. Дик тревожно метался из стороны в сторону и стонал.

– Пусти меня, – прохрипел он. – Ты мне переломашь ребра. Мы не должны допускать, чтобы они думали, что мы их боимся, всех этих духов тьмы и мрака и всех их приспешников, не правда ли?

– Лежи смирно... вот уже все прошло.

– Да, – послушно согласился Дик. – Но ты ничего не будешь иметь против того, чтобы я держал твою руку... Мне надо держаться за что-нибудь, а то как будто проваливаешься в этот мрак.

Торпенгоу протянул ему свою большую, широкую, волосатую лапу, и Дик ухватился за нее, и, спустя полчаса, он уже спал. Тогда Торпенгоу тихонько высвободил свою руку и, нахло-

нившись над Диком, осторожно коснулся губами его лба. Он поцеловал его, как целуют иногда пораженного насмерть товарища, чтобы усладить ему час кончины.

Перед рассветом Торпенгоу услышал, что Дик что-то говорил во сне. Он бредил и говорил быстро-быстро, словно торопясь скорее все высказать.

– Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь. Каша заварилась, надо ее расхлебывать. Оставим в стороне все «меланхолии»; ведь известно, что королева не может быть не права, она не может ошибаться и заблуждаться... Торп этого не знает, но я скажу ему об этом, когда мы двинемся немного дальше в глубь пустыни. И что эти матросы возьмется с корабельным канатом? Ведь они сейчас перетрут этот четырехдюймовый причал! Ведь я вам говорил, что он сейчас лопнет... вот и лопнул!.. Белая пена на зеленых волнах... и пароход поворачивает... как это красиво! Я непременно зарисую. Нет, ведь я не могу! Ведь у меня больные глаза... Эта болезнь была одной из десяти казней египетских... тьма египетская!.. И она простиралась по всему течению Нила, вплоть до порогов. Ха, вот это так шутка, Торп! Смейся же, каменное изваяние! И отойди подальше от каната... Он тебя может сбросить в воду, Мэзи, и запачкает твоё платье, дорогая моя.

– О! – сказал Торп. – Опять это имя, я уже слышал его раньше, в ту памятную ночь, на реке...

– Она, наверное, скажет, что это я испачкал новое платье, и ты, право, слишком близка от этих старых свай. Это нехорошо, Мэзи... А-а, я знал, что ты промахнешься. Надо стрелять ниже и левее, дорогая. Тебе не хватает убежденности; у тебя есть все на свете, кроме убежденности, а без этого никак нельзя. Не сердись, дорогая! Я дал бы отсечь себе руку, если бы это могло дать тебе что-нибудь, кроме простого упорства! Даже мою правую руку, если бы это было на пользу.

Дик долго еще продолжал бредить, главным образом обращаясь к Мэзи. То он горячо говорил о своем искусстве, точно читал лекцию, то проклинал себя за то, что стал ее рабом, то молил Мэзи подарить ему поцелуй, всего один только поцелуй на прощанье, то звал ее назад из Витри-на-Марне... и в бреду он призывал и небо и землю в свидетели, что королева не может быть не права. Торпенгоу внимательно прислушивался к его бреду и мало-помалу узнал все подробности внутренней жизни Дика, которые до того времени были неизвестны ему.

В течение трех суток Дик бредил почти непрерывно и наконец уснул крепким, спокойным сном.

– Боже мой, в каком страшно напряженном состоянии он, бедняга, находится все это время из-за этой девчонки! – сказал Торпенгоу. – И чтобы Дик привязался так по-собачьи, я бы этому никогда не поверил, а я еще упрекал его в наглости, в самомнении! Пора бы мне, кажется, знать, что никогда не следует судить человека, а я его судил и осуждал! Но что за дьявол должна быть эта девушка! Дик отдал ей всего себя, всю свою душу, прости ему, Господи! А она, по-видимому, дала ему взамен всего только один поцелуй.

– Торп, – сказал Дик, – пойди прогуляться! Ты слишком долго засиделся здесь. Я сейчас встану. Ха! Это досадно, ведь я не могу сам одеться. Нет, право, это уж слишком глупо!

Торпенгоу помог ему одеться и усадил его в большое удобное кресло, и Дик терпеливо ждал со страшно напряженными нервами, чтобы рассеялась тьма. Но тьма эта не рассеялась ни в этот день, ни в последующие. Наконец, Дик решился обойти свою комнату, придерживаясь стены, но ударился подбородком о камин и после того пришел к заключению, что лучше пробираться на четвереньках, ощупывая одной рукой пространство перед собой. В таком положении застал его Торп, вернувшись из своей комнаты.

– Я, как видишь, изучаю топографию моих владений, – сказал Дик. – Помнишь того негра, которому ты выбил глаз в сражении? Жаль, что ты тогда не подобрал этого глаза, может быть, он мне теперь пригодился бы. Есть письма для меня? Нет. Ну, так дай мне те, что в толстых, серых конвертах с чем-то вроде короны в качестве украшения. В них нет ничего важного.

Торпенгоу подал ему письмо с черной буквой М на конверте, и Дик положил его в карман. В письме этом не было ничего такого, чего бы не мог прочесть Торпенгоу, но оно было от Мэзи и потому принадлежало только ему одному, ему, которому сама Мэзи никогда не будет принадлежать.

– Когда она увидит, что я не отвечаю на ее письма, она перестанет писать. Да оно и лучше так. Теперь я ей ни на что не нужен; я ничем не могу ей быть полезен теперь, – рассуждал Дик, а демон-искуситель толкал его сообщить о своем положении Мэзи, и вместе с тем каждая клеточка его тела возмущалась против этого.

– Я достаточно низко пал и не хочу выклянчивать у нее чувство жалости. И кроме того, это было бы жестоко по отношению к ней.

И он всячески старался отогнать от себя мысль о Мэзи. Но слепым так много приходится думать, и по мере того, как восстанавливались его физические силы, в долгие праздные часы его беспросветных сумерек душа Дика болела и изнывала до крайнего предела. От Мэзи пришло еще письмо и затем еще одно, и затем наступило молчание. Дик сидел у окна своей мастерской, вдыхал аромат весны и мысленно представлял себе, что другой завоевывает себе любовь Мэзи, другой, более сильный и более счастливый, чем он. Его воображение рисовало ему картины тем более яркие, что фоном для них служила беспросветная тьма, и от этих картин он вскакивал на ноги и принимался бегать как помешанный из угла в угол своей мастерской, натываясь на мебель и на камин, который, казалось, находился одновременно во всех четырех углах комнаты. Но хуже всего было то, что табак утратил для него всякий вкус с тех пор, как он погрузился во мрак. Самоуверенность мужчины сменилась в нем пришибленностью безысходного отчаяния, которое видел и понимал Торпенгоу, и слепой страстью, которую Дик поверял только своей подушке во мраке ночи.

– Пойдем прогуляться в парк, – сказал Торпенгоу, – ты ни разу не выходил из дома с тех пор, как это случилось.

– Зачем мне идти в парк? Что пользы? Во тьме нет движения, и кроме того... – он нерешительно остановился на верхней ступеньке лестницы, – мне кажется, что меня переедут.

– Ну, что ты, ведь я же буду с тобой! Ну, веселее вперед!

Уличный шум вызывал у Дика нервный страх, и он все время висел на руке Торпенгоу.

– Представь себе, каково нащупывать ногою пропасть, – сказал он почти жалобно, когда они уже входили в парк. – Лучше проклясть свою судьбу и умереть!.. А, это наша гвардия!

Дик как-то сразу выпрямился и повеселел.

– Подойдем ближе! Я хочу видеть! Побежим по траве напрямик. Я слышу запах деревьев.

– Осторожнее, здесь низенькая решетка... Ну, вот так! – одобрил Торпенгоу, когда Дик благополучно перешагнул через загородку, и, наклонившись, он сорвал пучок молодой травы и подал ее Дику. – На вот, понюхай это, – сказал он. – Ну, разве не хорошо пахнет?

Дик с видимым наслаждением вдыхал в себя запах травы.

– Ну а теперь подымай выше ноги и бежим!

Они догнали полк и стояли теперь совсем близко к проходившим мимо них солдатам. Звук неплотно насаженных штыков волновал Дика до того, что у него ноздри раздувались и дрожали от возбуждения.

– Подойдем ближе. Они идут колонной, не правда ли?

– Да, а как ты узнал?

– Я это почувствовал... О, мои молодцы! Мои рослые красавцы! – И он подался еще ближе вперед, как будто он мог их видеть. – Когда-то я умел рисовать этих молодцов. Кто-то теперь будет писать их?

– Они сейчас пройдут. Смотри не рванись вперед, когда забьет барабан.

– Ха-а!.. Я не новичок. Меня особенно гнетет тишина. Подвинемся ближе, Торп! Еще ближе! Ах, Боже мой, что бы я дал, чтобы увидеть их хоть одну минуту, хоть полминуты!

Он слышал близость строя, близость мерно идущих в ногу солдат в полном боевом снаряжении, слышал даже шуршание ремня через плечо у барабанщиков...

– Они приготовились забить дробь... уже занесли палочки над головой... вот сейчас ударят, – шепнул Торпенгоу.

– Знаю, знаю! Кому и знать, если не мне! Тсс!..

Барабаны затрещали, и люди быстрее зашагали вперед. Дик чувствовал движение воздуха от проходивших мимо него рядов, с безумной радостью прислушивался к мерному шагу солдат под бой барабанов и наслаждался избитыми словами песни под быстрый темп ускоренного марша. Вот слова этой солдатской песни:

Он должен ростом быть высок
И весить должен он немало,
Прийти он должен в четверток
И не разыгрывать нахала.
Он должен знать, как нас любить
И как с девицей целоваться,
И если денег хватит нам,
То как могу я отказаться?

– Что с тобой? – спросил Торпенгоу, заметив, что Дик как-то разом поник головой, когда прошли последние ряды полка.

– Ничего, – отозвался Дик, – просто я почувствовал, что я в стороне от течения, вот и все. Торп, отведи меня домой. Зачем ты вздумал водить меня гулять!.. Мне слишком тяжело...

XII

Нильгаи сердился на Торпенгоу. Дика уложили спать – слепые находятся в подчинении у зрячих. Возвратившись из парка, Дик долго проклинал Торпенгоу за то, что он был жив, и весь свет, за то, что он был полон жизни и движения, и что он все видел, тогда как он, Дик, был мертв среди живых, мертв из-за своей слепоты, и, как все слепые, являлся только обузой для своих ближних и друзей.

Торпенгоу что-то возразил ему на это, и Дик ушел к себе взбешенный, чтобы в тишине своей студии вертеть в руках нераспечатанные письма Мэзи.

Нильгаи, жирный, дюжий и воинственный, находился в это время в комнате Торпенгоу, а за его спиной сидел Кинью, великий орел войны. Перед ними лежала большая карта, утыканная булавами с белыми и черными головками.

– Я тогда был не прав относительно Балкан, – сказал Нильгаи, – но на этот раз я прав. Все наши труды в Южном Судане пропали даром, и надо все начинать снова. Публике это, конечно, все равно, но не правительству, и оно исподволь готовится. Вы это так же хорошо знаете, как и я.

– Я помню, как нас ругали, когда наши войска отступили от Омдурмана; рано или поздно это должно было возгореться снова. Но я не могу уехать, – говорил Торпенгоу и указал глазами на открытую дверь. Ночь была жаркая, душная. – И вы едва ли станете порицать меня.

– Никто вас, конечно, нисколько не порицает. Это чрезвычайно хорошо с вашей стороны, и все такое, но каждый человек, и в том числе и вы, Торп, должен считаться со своей работой, со своим делом. Я знаю, что это жестоко с моей стороны и грубо говорить так, но Дик выбыл из строя, его песня спета, он конченный человек. У него есть немного денег на его нужды, с голода он не умрет, а вы, Торп, не должны ради него сходить со своей дороги. А кроме того, подумайте о вашей репутации. У вас есть имя в газетном мире.

– У Дика была репутация и имя в пять раз более громкие, чем у нас всех троих, вместе взятых.

– Потому что он ставил свое имя под каждым своим произведением; но теперь этому конец, и вы должны быть готовы к отъезду; вы можете сами поставить газете какие угодно условия, потому что вы пишете лучше нас всех.

– Не старайтесь искушать меня. Я останусь здесь и буду некоторое время присматривать за Диком. Он, в сущности, так же добр, как медведь с больной головой, только мне кажется, что он хочет, чтобы я был подле него.

На это Нильгаи пробормотал нечто не совсем любезное по адресу мягкосердечных олухов, которые портят свою карьеру ради других олухов, а Торпенгоу густо покраснел от злости и досады. Дело в том, что постоянное напряженное состояние при уходе за Диком сильно расшатало его нервы.

– Есть еще третий выход, – задумчиво промолвил Кинью. – Примите его во внимание и не делайте больших глупостей, чем это нужно. Дик довольно красивый, здоровый, рослый малый или, вернее, был таковым, и притом довольно смелый.

– Ого! – сказал Нильгаи, припомнив историю в Каире. – Я начинаю понимать, куда вы клоните. Не сердитесь, Торп, я, право, очень сожалею.

Торпенгоу кивнул примирительно.

– Вы еще более сожалели, когда он оставил вас при пиковом интересе в тот раз... Ну, продолжайте, Кинью.

– И вот я не раз думал, когда видел, как люди умирали там, в пустыне, что если бы вести на родину доходили моментально и сообщение с любой точкой земного шара тоже было

момента, то у изголовья каждого умирающего была бы, по крайней мере, хоть одна любящая женщина.

– Это, вероятно, очень осложнило бы дело; будем благодарны судьбе, что все обстоит так, как оно обстоит, – сказал Нильгаи.

– Нет, лучше обсудим, являются ли трехэтажные наставления и увещания Торпа именно тем, что так необходимо и желательно для благополучия Дика. Что вы об этом думаете, Торп?

– Конечно, нет, но что же я могу сделать?

– Послушайте, все мы друзья Дика, вы это знаете; конечно, вы ближе всех знаете его жизнь и его сердечные дела.

– Но я узнал о них только из его бреда, в то время, когда он был без памяти.

– Тем больше шансов на то, что все это истинная правда... Кто же она?

Торпенгоу рассказал все, что ему было известно об этом, с искусством и умением специального корреспондента, и приятели слушали его, не прерывая.

– Возможно ли, чтобы человек через десятки лет возвратился к своей детской, телячьей привязанности? – сказал Кинью. – Неужели это в самом деле возможно?

– Я вам передаю факты. Он теперь ни слова не говорит об этом, но сидит и целыми часами вертит в руках три нераспечатанных письма от нее, когда он думает, что я не вижу его. Что могу я сделать?

– Поговорить с ним, – сказал Нильгаи.

– О да! Написать ей, – но я не знаю ее полного имени, имейте это в виду, и помните, Нильгаи, вы как-то раз коснулись слегка этого вопроса с Диком, и вероятно, вы не забыли, что из этого вышло? Попробуйте пойти к нему в спальню и попытайтесь вызвать его на откровенное признание, и упомяните об этой девице, Мэзи – кто бы она там ни была, – и я почти могу уверить вас, что он не задумается убить вас за эту дерзость, а слепота сделала его мускулы еще более сильными и здоровыми, и я не советую вам испробовать их на себе.

– Мне кажется, что задача Торпа совершенно ясна, – сказал Кинью. – Он отправится в Витри-на-Марне, по железнодорожной линии Бэзер-Ланди и поездом прямого сообщения из Тургаса. Пруссаки в семидесятом году уничтожили его бомбардировкой, а теперь там стоит эскадрон кавалерии. Где находится мастерская этого француза-художника, я, конечно, не могу вам сказать, это уж ваше дело, Тори, разузнать об этом и затем объяснить этой девушке положение дела так, чтобы она вернулась к Дику, тем более что, по его словам, только ее «проклятое упрямство» мешает им соединиться законным браком.

– Вместе у них будет четыреста двадцать фунтов годового дохода, что весьма прилично, и у вас, Торп, нет решительно никаких оснований не ехать, – сказал Нильгаи.

Торпенгоу было, видимо, не по себе.

– Но это бесполезно, друзья мои, это несбыточное дело! Не за волосы же мне ее тащить к Дику!

– Наша профессия, дающая нам заработок, заставляет нас делать нелепое и невозможное исключительно ради забавы публики. Здесь же у нас есть серьезное основание, а все остальное не имеет значения. Я поселюсь с Нильгаи в этих комнатах до возвращения Торпенгоу. Теперь можно ожидать наплыва «специальных» корреспондентов в Лондон, потому что здесь будет их главная квартира. А это еще одно лишнее основание удалить на время Торпенгоу. Само Провидение помогает тем, кто помогает друг другу.

На этом Кинью оборвал свою убедительную речь и перешел к более горячему и быстрому темпу:

– Мы не можем допустить, чтобы вы, Торп, были прикованы, как каторжник, к Дику, когда там начнутся схватки. Ведь это ваш единственный шанс вырваться отсюда, и Дик будет даже благодарен вам.

– Да уж нечего сказать, будет благодарен! Я могу только попытаться, хотя я положительно не в состоянии представить женщину в полном рассудке, которая могла бы отказать Дику.

– Уж об этом вы постарайтесь столковаться с этой девушкой. Я видел, как однажды вы уговорили злющую махдистку угостить вас свежими финиками, а это, наверное, будет далеко не так трудно. Вам всего лучше убраться отсюда завтра до обеда, потому что Нильгаи и я займем эти комнаты с полудня. Таков приказ и надо повиноваться!..

– Дик, – сказал Торпенгоу на следующее утро, – не могу ли я сделать что-нибудь для тебя?

– Нет! Оставь меня в покое! Сколько раз говорить тебе, что я слеп?

– Не нужно ли тебе за чем-нибудь послать? Принести что-нибудь или достать?

– Да нет же! Убери только отсюда эти твои проклятые скрипучие сапоги! Выносить их не могу.

«Бедняга, – подумал Торпенгоу, – я, вероятно, сильно раздражал его последнее время. Я так неловок, так неуклюж; ему нужен более нежный, женский уход». – Хорошо, – продолжал он уже вслух, – раз ты так независим и совершенно не нуждаешься в моих услугах, то, значит, я спокойно могу уехать на несколько дней. Управляющий домом позаботится о тебе, а в моих комнатах временно поселится Кинью.

Лицо Дика омрачилось и как будто помертвело.

– Ты пробудешь не дольше недели в отсутствии? Я знаю, что я стал нервен и раздражителен, но я не могу обойтись без тебя.

– Не можешь? А между тем тебе скоро придется обходиться без меня, и ты даже будешь рад, что я уехал.

Дик ошупью дошел до своего большого кресла у окна и, опустившись в него, стал размышлять, чтобы все это могло значить. Он не желал, чтобы управляющий ухаживал за ним, и в то же время постоянная, неустанная ласковая заботливость Торпенгоу страшно раздражала его. Он положительно сам не знал, чего бы он хотел. Мрак не рассеивался, а нераспечатанные письма Мэзи совершенно истрепались от постоянного комканья их в руках. Никогда он не сможет прочесть их, сколько бы он ни прожил на земле! Но Мэзи все же могла бы прислать ему еще несколько свежих, хотя бы для того только, чтобы он мог играть ими, вертя их в руках. Вот вошел Нильгаи с подарком, комком красного воска для лепки; он полагал, что это может развлечь Дика, если руки его будут заняты чем-нибудь. В течение нескольких минут Дик комкал и мял воск в руках и затем спросил:

– Похоже это на что-нибудь? – голос его звучал как-то деревянно и сухо. – Уберите это пока. Может быть, лет через пятьдесят я и приобрету тонкость осязания слепых. А не знаете ли вы, куда едет Торпенгоу?

Нильгаи ничего не знал, он знал только, что он едет не надолго, и что он, Нильгаи, и Кинью поселились на это время в его комнатах, и тут же спросил, не могут ли они чем-нибудь быть полезны ему.

– Я желал бы, чтобы вы оставили меня одного, если можно. Не думайте, что я неблагодарен; но, право, мне всего лучше, когда я остаюсь один.

Нильгаи усмехнулся, а Дик снова погрузился в свои сонливые размышления и безмолвное возмущение против своей судьбы. Он уже давно перестал думать о своих прежних работах и о работе вообще, и всякое желание работать, творить совершенно покинуло его. Он только сокрушался о самом себе; ему было бесконечно жаль себя, и безысходность его горя как будто служила ему утешением. И телом и душой он призывал Мэзи – Мэзи, которая могла его понять. Но здравый рассудок доказывал ему, что Мэзи, для которой превыше всего была ее работа, отнесется к нему безразлично. Умудренный опытом, он знал, что, когда у человека кончались деньги, женщины уходили или отворачивались от него, и что когда человек падает в борьбе, то люди попирают его ногами. «Но она могла бы, по крайней мере, – сказал себе Дик, – использовать меня так, как я некогда использовал Бина, для различных этюдов. Ведь мне ничего больше

не надо, как только снова быть подле нее, даже если бы другой заведомо добивался ее любви. О, какой же я жалкий пес!»

В этот момент чей-то голос на лестнице весело запел:

Восплачут кредиторы наши,
Узнав, что наш и след простыл,
Что пароход, нас всех забравший,
Во вторник в Индию отплыл.

Прислушиваясь к топоту ног, хлопанию дверей в комнате Торпенгоу и звуку горячо спорящих голосов, Дик уловил случайный возглас:

– Смотрите, добрые друзья, какую я достал дорожную флягу – патентованную, первый сорт! Что вы на это скажете, а?

Дик вскочил со своего места; он хорошо знал этот голос. Это Кассаветти, он вернулся с материка; теперь я знаю, почему уехал Торп. Где-нибудь дерутся, а я – я не могу быть вместе с ними!

Напрасно Нильгаи уговаривал всех, чтоб не кричали.

«Это он из-за меня, – с горечью подумал Дик. – Наши птицы готовятся к отлету и не хотят мне говорить об этом. Я слышу голос Мортен-Суссерлэнда и Макея; половина всех военных корреспондентов Лондона здесь; а я не с ними, я за бортом!»

Спотыкаясь, он перебрался через площадку и ввалился в комнату Торпенгоу. Он чувствовал, что комната полна народа.

– Где дерутся? – спросил он. – Наконец-таки на Балканах? Отчего никто из вас не сказал мне об этом?

– Мы думали, что это вам не интересно, – сказал Нильгаи сконфуженно. – Беспорядки в Судане, как всегда.

– Счастливы! Позвольте мне посидеть здесь с вами и послушать вас. Я не буду мешать вам. Кассаветти, где вы? Ваш английский язык все так же плох?

Дика усадили в кресло; он слышал шелест карт, и разговор полился неудержимо и непринужденно, увлекая и его. Все говорили разом, толковали и о цензуре печати, и о путях сообщения, водоснабжении и даровитости генералов, и все это в таких выражениях, которые привели бы в ужас доверчивую публику; все в комнате стучали, кричали, жестикулировали, бранились, обличали и хохотали во все горло. У всех была полнейшая уверенность в том, что война в Судане неизбежна. Так уверял Нильгаи, и потому следовало всем быть наготове. Кинью уже телеграфировал в Каир, чтобы заготовили лошадей; Кассаветти стибрил где-то совершенно неверный список войск, которые будто бы должны быть отправлены в Судан, и читал его при всеобщих непочтительнейших протестах, прерывавших его ежеминутно, а Кинью представил Дикю какого-то никому не известного человека, который был приглашен Центральным Южным Синдикатом в качестве военного иллюстратора.

– Это его первое выступление, Дик, – сказал Кинью, – дайте ему кое-какие указания, как следует ездить на верблюдах.

– Ох уж эти мне верблюды! – простонал Кассаветти. – Придется опять привыкать ездить на них, а я за это время так размяк! Так слушайте же, господа, прекрасно известны ваши военные предначертания, я получил эти сведения из самых достоверных источников.

Громкий взрыв хохота снова прервал его слова.

– Да полно вам! – сказал Нильгаи. – Даже в военном министерстве еще ничего не решено, какие войска и какие части будут посланы в Судан.

– А будут ли посланы войска в Суаким? – спросил чей-то голос.

Затем возгласы и замечания посыпались, как горох из мешка, поднялся шум и крик, так что невозможно было разобрать; слышались только отдельные фразы: «Много ли египетских войск пойдут в дело?», «Помоги Бог феллахам!», «Наконец-то у нас будет Суакимо-Варварийская железнодорожная линия!», «Нет, им не взорвать скалы у Гизэ!..», «Да вы разорвете карту на клочки!..»

Наконец, Нильгаи, тщетно старавшийся водворить порядок, заревел, как бык, и застучал обоими кулаками по столу.

– Но скажите мне, куда отправился Торпенгоу? – спросил Дик, когда наконец наступила тишина.

– Он уехал куда-то по любовным делам, как я полагаю, – сказал Нильгаи, – и местопребывание его неизвестно.

– Он говорил, что останется в Англии, – сказал Кинью.

– Разве? – воскликнул Дик и выругался. – Нет, он не останется. Я, конечно, теперь плохой работник, и от меня немного прока, но если ты и Нильгаи поддержите его, то я берусь до тех пор зудить и пилить его, пока он не образумится. Чтобы он остался здесь, как бы не так! Да ведь он лучший корреспондент из вас всех... Там, верно, будет жаркое дело, под Омдурманом. И на этот раз мы там удержимся. Да, я забыл... хотел бы я отправиться вместе с вами!

– И все мы этого хотим, Дик, – сказал Кинью.

– А я больше всех! – подхватил новый художник-иллюстратор. – Могли бы вы мне сказать...

– Я дам вам только один добрый совет, – отозвался Дик, направляясь к дверям. – Если вам случится в схватке получить сабельный удар по голове, не защищайтесь и крикните нападающему, чтобы он зарубил вас насмерть. Это в результате окажется гораздо лучше для вас. Благодарю, господа, что позволили мне заглянуть к вам.

– У Дика еще не пропал задор! – сказал Нильгаи час спустя, когда все, кроме Кинью, ушли.

– То был священный призыв боевой трубы. Заметили вы, как он откликнулся на него? Бедняжка! Заглянем к нему.

Возбуждение Дика прошло. Дик сидел в своей студии у стола, опустив голову на руки, и не изменил своей позы, когда Кинью и Нильгаи вошли к нему.

– Больно мне, тяжело! – простонал он. – Слишком тяжело прости меня, Господи! А все же земной шар, как ни в чем не бывало, продолжает вертеться, невзирая на нас... Увижу я Торпа до его отъезда?

– О, конечно! Вы непременно увидите его, – сказал Нильгаи. – Спокойной ночи!

XIII

– Мэзи, ложись спать!

– Жарко, я не могу спать; не приставай ко мне.

И Мэзи облокотилась на подоконник раскрытого окна и смотрела на освещенную луной, обсаженную тополями, прямую, как струна, проезжую дорогу. Лето давало себя знать в Витрина-Марне; воздух был раскален, трава на лугах выгорела, опаленная солнцем, глинистые берега реки высохли и растрескались, придорожные цветы и розы в саду давно засохли, но все еще держались на своих высохших стеблях. Жара в небольшой низенькой спальней, под самой крышей, была, действительно, нестерпимая. Даже лунный свет на стене студии Ками, по другую сторону дороги, казалось, усиливал духоту этой ночи, а громадная тень ручки звонка у запертой решетки, ложившаяся черной, как чернила, полосой на белую дорогу, почему-то останавливала на себе взгляд Мэзи и раздражала ее.

– Отвратительное пятно. Все должно было бы быть белым, – пробормотала она, – да и решетка калитки не в середине стены... раньше я этого не замечала.

Мэзи была в дурном настроении. Во-первых, ее истомила страшная жара последних трех недель; во-вторых, ее работа, а особенно этюд женской головки, которая должна была изображать собою Меланхолию, все еще не законченная и не готовая к выставке в Салоне, была совершенно неудовлетворительна, в-третьих, и Ками на днях высказался в этом духе; в-четвертых, до такой степени в-четвертых, что об этом, пожалуй, даже не стоило и думать, – Дик, ее собственность, ее вещь – вот уже более шести недель не писал ей ни слова. Она злилась на жару, но еще больше злилась на Дика.

Она писала ему три раза, каждый раз предлагая новое толкование Меланхолии, и Дик не удостоил вниманием ни одно из этих сообщений. Она решила больше не писать ему. Но когда она осенью вернется в Англию, – ее гордость не позволяла ей вернуться раньше, – тогда она поговорит с ним. Ей положительно не хватало воскресных бесед с Диком, гораздо более не хватало, чем она хотела себе признаться. А Ками все твердил: «Continuez, mademoiselle, continuez toujours!» – и в течение всего долгого, скучного лета он все повторял свой надоедливый совет, точно кузнечик, старый седой кузнечик в рабочей блузе из черного альпага, в белых брюках и широкополой поярковой шляпе. А Дик с видом господина и повелителя ходил большими шагами взад и вперед по ее мастерской в северной части прохладного, зеленеющего своими скверами и парками Лондона и говорил ей вещи несравненно более жестокие, чем «continuez», и затем вырывал уже кисть из рук и двумя-тремя уверенными мазками наглядно показывал ей, в чем ее ошибка. «Его последнее письмо, – вспомнила Мэзи, – содержало ненужные советы не рисовать на солнце, не пить сырой воды из придорожных фонтанов, не переутомлять глаза – он повторял это в своем письме раза три, как будто он не знал, что она умеет и сама позаботиться о себе».

– Но чем он так занят, что не может написать ей? – Звук голосов внизу на дороге заставил Мэзи высунуться из окна. Какой-то кавалерист местного гарнизона разговаривал с кухаркой Ками. Лунный свет играл на ножнах его сабли, которую он придерживал рукой, чтобы она ненароком не загремела. Чепец кухарки бросал густую тень на ее лицо, которое придвинулось почти вплотную к лицу кавалериста. Он обхватил рукою ее талию и прижал ее еще ближе к себе, а затем послышался звук поцелуя.

– Фуй! – воскликнула Мэзи, откидываясь назад.

– Что такое? – спросила рыжеволосая девушка, беспокойно ворочаясь в постели.

– Ничего, солдат целуется с кухаркой, вот и все, – ответила Мэзи. – Теперь они ушли, слава Богу! – И она опять высунулась из окна, но предварительно накинула на плечи платок поверх своего ночного капота, чтобы уберечь себя от простуды. Поднялся легкий ночной

ветерок, и засохшая роза под окном закивала своей склоненной головкой, как будто ей были известны несказанные тайны. Неужели Дик мог отвратить свои мысли от ее работы и от своей и опуститься до унижительного положения этих людей, кухарки Сусанны и этого солдата? Нет, он не мог! И роза опять закивала головкой соседним с ней листочкам, и в этот момент она походила на лукавого маленького чертенка, который почесывает у себя за ухом. «Дик не мог дойти до этого, – думала Мэзи, – потому что он мой, мой и мой! Он сам так говорил. Но не все ли мне равно, что он делает. Я только боюсь, что это может повредить его работе и моей тоже, если он когда-нибудь дойдет до этого».

В сущности, не было решительно никакой причины для того, чтобы Дик не поступал так, как это ему нравится, кроме разве той, что он был предназначен Провидением, то есть Мэзи, помогать этой упорной маленькой художнице в ее работе, а ее работой, ее жизненной задачей было изготовление картин, которые иногда попадали бы на какие-нибудь провинциальные английские выставки, как о том свидетельствовали заметки в записной книжке Мэзи, и которые неизменно отвергались бы Салоном каждый раз, когда Ками, после усиленных просьб и настояний, скрепя сердце давал позволение отправить в Салон ту или другую ее картину. И в будущем дальнейшею ее работой, по-видимому, должно было быть все то же изготовление картин, которым суждена была совершенно та же участь.

Рыжеволосая девушка беспокоило и отчаянно ворочалась в своей постели.

– Нет, положительно невозможно заснуть! Какая духота! – простонала она.

– Да, совершенно та же участь, – продолжала про себя рассуждать Мэзи, невзирая на замечание подруги, – она будет по-прежнему делить свое время между мастерской в Лондоне и студией Ками в Витри... Нет, она перейдет к другому руководителю, и тот поможет ей добиться успеха, на который она имеет полное право, если только неустанный, упорный труд, отчаянное упорство и непреклонная воля дают человеку право на то, к чему он стремится. Дик говорил ей, что работал десять лет, чтобы понять настоящую суть своего мастерства, или искусства. Она тоже проработала десять лет, и эти десять лет не привели ни к чему. Дик сказал, что десять лет ничто, но это он сказал по отношению к ней только; он сказал – этот человек, который теперь не мог найти время, чтобы написать ей, – что он готов ждать ее десять лет, если это нужно, но что она непременно, рано или поздно, должна будет прийти к нему. Это он ей писал в том нелепом письме, где говорил о солнечном ударе и дифтерите, и после того он ничего больше не писал. Он, вероятно, разгуливает по освещенным луною улицам или дорогам и целует кухарок. Как бы она хотела прочесть ему теперь наставление; ну, конечно, не в этом ночном капоте, а одетая надлежащим образом, и говорить строгим, несколько пренебрежительным тоном. Но если он теперь целуется с другими девушками, то ему ее наставления будут безразличны. Он даже, вероятно, посмеется над ней. Ну, что ж! Она вернется в свою студию и будет писать картины, которые она будет отсылать... Круговорот мыслей медленно вращался все вокруг одной и той же точки, а за ее спиной рыжеволосая девушка все ворочалась и металась, словно и ей какие-то назойливые и неприятные мысли мешали спать.

Мэзи подперла подбородок рукой и решила, что вероломство Дика не подлежит сомнению. В подтверждение сего факта она принялась совсем не по-женски взвешивать очевидное. Был когда-то мальчуган, и этот мальчуган сказал ей, что любит ее. И он поцеловал ее в щеку, и, глядя на это, желтая кувшинка кивала головкой, вот точно так же, как теперь эта сухая роза в саду, под окном. Затем наступил большой промежуток, и за это время мужчины не раз говорили ей, что любят ее. Но у нее было тогда столько хлопот и столько дел с ее работой. И тогда вернулся мальчик и при этой второй встрече с ней опять сказал ей, что любит ее. Затем он... Но всему тому, что он после того делал, конца нет... Он отдавал ей все свое драгоценное время, говорил ей убедительно и вдохновенно об искусстве, о хозяйстве, о технике, о чайных чашках, о вреде злоупотребления пикулями и горячительными средствами, о кистях собольего волоса – лучшие ее кисти были подарены им, и она ежедневно пользовалась ими; он давал ей

самые дельные советы и указания, которыми она время от времени пользовалась, и глядел на нее такими глазами... какими побитая собака глядит на хозяина, ожидая от него ласкового слова, чтобы подползти к нему и лечь у его ног. И в награду за всю эту преданность она не дала ему решительно ничего, кроме... разрешения поцеловать ее один раз, один только раз – да еще прямо в губы!.. Какой позор! Неужели этого недостаточно? Даже более чем достаточно! А если нет, то разве он не посчитался с ней тем, что не пишет ей, и... и вероятно, целует так других девушек.

– Мэзи, ты, наверное, схватишь простуду. Иди и ложись, – послышался усталый и досадливый голос подруги. – Я не могу заснуть, когда ты торчишь там в окне.

Мэзи только пожала плечами и ничего не ответила. Она в это время думала о мелочности, придирчивости и низости Дика и о разных скверностях, в которых он был вовсе не повинен. Беззастенчивый лунный свет не давал ей спать; он ложился на стеклянную крышу студии, по ту сторону дороги, и серебрил ее холодным ровным светом. Мэзи уставилась на нее, и мысли ее стали незаметно то сливаться, то расплываться; тень от ручки звонка то укорачивалась, то снова удлинялась и, наконец, совсем исчезла. Предрассветный ветерок пробежал по засохшей траве лугов и принес с собой прохладу. Голова Мэзи опустилась на руки, сложенные на подоконнике, и пряди густых черных волос упали на сложенные руки, на плечи и на подоконник.

– Мэзи, проснись! Ты, наверное, простудишься!

– Да, дорогая... да, да... – Она встала и, шатаясь, как сонный ребенок, добралась до кровати. Но раздеваясь, она уткнулась лицом в подушки и, засыпая, пробормотала:

– Я думаю... я думаю... но он все же должен был написать.

День принес с собой обычную работу в мастерской, где пахло красками и скипидаром, где царил монотонная мудрость Ками, этого немудрого художника, но неоцененного учителя и наставника для тех из его учеников, которые придерживались одних с ним взглядов на искусство. Мэзи в этот день относилась к нему не сочувственно и с нетерпением ждала конца занятий. Все в мастерской знали, когда приближался конец занятий; об этом можно было догадаться, когда Ками собирал свою блузу из черного альпага в комок на спине и, устремив куда-то в пространство свои выцветшие голубые глаза, как бы оглядывался назад на прошлое и вспоминал про Бина.

– Все вы работаете неплохо, – говорил он, – но помните, что манера письма, знание формы, природное дарование еще не достаточны для того, чтобы сделать человека истинным художником. Прежде всего нужна убежденность! Из всех моих учеников, сколько у меня их ни было... (тут ученики и ученицы начинали убирать свои краски и кисти) лучшим был Бина. Все, что могут дать знание, талант и техника, все это он имел; когда мы с ним расстались, он мог создать все, что можно создать с помощью красок и кисти. Но у него не было убежденности. И вот теперь я ничего не слышу о Бина – этом лучшем из всех моих учеников, – и давно-давно ничего не слышал. А на сегодня вы, вероятно, будете весьма рады, что не услышите больше от меня: *Continuez, mes amis, continuez!* Работайте, но главное, с убеждением!

И он уходил в сад курить и горевать о погибшем для искусства Бина, а ученики расходились по домам или оставались еще на некоторое время в мастерской и сговаривались, что предпринять после обеда.

Мэзи постояла и посмотрела на свою злосчастную «Меланхолию», с трудом подавив в себе желание скорчить по ее адресу гримасу, и затем стала торопливо переходить через дорогу к своему дому, чтобы написать письмо Дику. Вдруг она увидела перед собой крупного мужчину на белой полковой лошади. Каким образом Торпенгоу сумел в каких-нибудь двадцать часов времени расположить к себе сердца всех французских офицеров маленького гарнизона Витри, обсудить с ними несомненность блистательного реванша Франции, довести самого полковника до слез умиления и получить лучшую в полку лошадь для поездки к Ками, – это секрет, который могут вам разъяснить только одни специальные корреспонденты.

– Прошу меня извинить, – обратился Торпенгоу к Мэзи, – мой вопрос, вероятно, покажется вам нелепым, но дело в том, что я не знаю этой девушки ни под каким другим именем, кроме этого. Скажите мне, пожалуйста, есть здесь молодая особа, которую зовут Мэзи?

– Я – Мэзи, – раздалось из-под большой соломенной шляпы в ответ.

– В таком случае, я должен отрекомендоваться, – сказал всадник. – Мое имя Торпенгоу; я лучший друг Дика Гельдара, и... и вот я должен вам сказать, что он ослеп.

– Ослеп? – бессмысленно повторила за ним Мэзи. – Он не может быть слеп... не может!..

– Он уже два месяца как ослеп, совершенно ослеп.

Тогда Мэзи подняла к говорившему свое лицо, оно было мертвенно-бледно:

– Нет! Нет! Он не ослеп! Я не хочу, чтобы он ослеп!..

– Желаете вы его видеть сами? Убедиться своими глазами? – спросил Торпенгоу.

– Теперь же? Сейчас?

– О нет. Поезд в Париж отходит отсюда лишь в восемь часов вечера. У вас еще очень много времени.

– Вас прислал ко мне мистер Гельдар?

– Нет! Конечно, нет!.. Дик никогда бы этого не сделал. Он сидит в своей студии и вертит в руках какие-то письма, которые он не может прочесть, потому что не видит.

Из-под большой соломенной шляпы раздался звук, похожий на всхлипывание. Мэзи низко опустила голову и вошла в дом, где она жила; рыжеволосая девушка лежала на диване и жаловалась на головную боль.

– Дик ослеп! – проговорила Мэзи, порывисто дыша и ухватившись за спинку кресла, чтобы не упасть. – Мой Дик ослеп!

– Что?

Рыжеволосой девушки уже не было на диване; бледная, с дрожащими губами, она стояла подле Мэзи.

– Приехал человек из Англии и сообщил мне об этом. Он не писал мне целых шесть недель.

– Ты поедешь к нему?

– Об этом надо подумать.

– Подумать?! О, я вернулась бы в Лондон немедленно, чтобы увидеть его, я целовала бы его слепые глаза до тех пор, пока бы они не прозрели! Нет, если ты не поедешь, поеду я! Ах, что я говорю! Глупая! Поезжай сейчас же! Поезжай немедленно!

У Торпенгоу налились вены на шее от сдерживаемого возбуждения, но он встретил вышедшую к нему без шляпы Мэзи терпеливой, снисходительной улыбкой.

– Я поеду, – сказала она, не подымая глаз.

– В таком случае, вы будете на станции Витри в семь часов вечера.

Это было приказание человека, привыкшего, чтобы ему повиновались. Мэзи ничего не ответила, но почувствовала к нему известную благодарность за то, что не представлялось никакой возможности возражать этому внушительному господину, который спокойно справлялся одной рукой с горячей лошадей. Она вернулась к рыжеволосой девушке, которая горько плакала, и скучный день прошел в слезах, поцелуях – их, конечно, было очень немного – в укладке вещей, дорожных сборах и переговорах с Ками. Думать можно было и после, а теперь ее долг был ехать к Дику – Дику, который имел такого удивительного друга и который сидит теперь во мраке и вертит в руках нераспечатанные письма.

– Но что же ты будешь делать? – спросила Мэзи свою подругу.

– Я? О, я останусь здесь и докончу твою Меланхолию, – сказала она с жалкой улыбкой, в которой было немало горечи. – Напиши мне после... непременно напиши!

В этот вечер и после в Витри-на-Марне много говорили о сумасшедшем англичанине, который, вероятно, страдая последствиями солнечного удара, так напоил всех офицеров гар-

низона, что все они очутились под столом, взял казенную полковую лошадь, прискакал на ней сюда и, не долго думая, похитил одну из этих помешанных, и даже более чем помешанных, англичанок, которые пишут здесь картины под наблюдением этого добрейшего monsieur Ками.

– Они такие чудачки! – сказала кухарка Сусанна кавалеристу в этот вечер, беседа с ним у освещенной луною стены студии. – Она всегда ходила с широко раскрытыми, большущими глазами, которые, казалось, ничего не видели и никого не замечали, а сегодня вдруг поцеловала меня в обе щеки, как родную сестру, и подарила мне – смотри – десять франков!

Кавалерист не преминул потребовать свою долю того и другого; недаром же он утверждал, что он лихой солдат.

Торпенгоу почти не говорил с Мэзи по дороге до Кале, но был внимателен к ней; он позаботился об отдельном купе для нее и оставил ее там совершенно одну.

– Самое лучшее – дать ей возможность все хорошенько обдумать и обсудить, – решил он; он был удивлен, как легко все это устроилось. – Судя по тому, что говорил Дик в бессознательном состоянии, эта девушка жестоко командовала им. Желал бы я знать, как ей нравится, когда командуют ею? – спрашивал себя Торпенгоу.

Но Мэзи ничего об этом не сказала. Она сидела в пустом купе и по временам закрывала глаза, стараясь себе представить ощущение слепоты. Ей было приказано немедленно ехать в Лондон, и ей было почти приятно так беспрекословно повиноваться; во всяком случае, это было много лучше, чем заботиться о багаже и рыжеволосой подруге, которая всегда была совершенно безучастна ко всему окружающему. Но вместе с тем чувствовалось, что она, Мэзи, так сказать, в немилости, что ею недовольны. Потому она всячески старалась оправдаться в своих глазах, что ей вполне удавалось до тех пор, пока Торпенгоу не подошел к ней на пароходе и без всякого вступления не стал рассказывать ей о том, как Дик ослеп, умалчивая о некоторых деталях, но весьма подробно останавливаясь на мучительных ужасах его бреда. Не досказав до конца, он вдруг оборвал, словно ему наскучила эта тема, встал и пошел курить сигару на другой конец палубы. Мэзи была взбешена. Она злилась и на Торпенгоу и на себя.

Он так торопил ее при отъезде из Дувра в Лондон, что она не успела даже позавтракать, и теперь она перестала даже возмущаться его обращением с ней. Ее коротко попросили обождать в прихожей, из которой вела наверх неприглядная лестница с обитыми железом закраинами ступенек, а Торпенгоу побежал наверх узнать, что там делается. И опять сознание, что с ней обращаются, как с провинившейся девочкой, которую считают нужным наказать неласковым обращением, вызвало краску на ее бледных щеках. И все это по вине Дика, который имел глупость ослепнуть.

Немного погодя Торпенгоу привел ее к запертой двери, которую он осторожно отворил. Дик сидел у окна, опутив подбородок на грудь; в руках у него были три запечатанных конверта, которые он вертел так и эдак. Внушительный господин, дававший приказания, куда-то исчез, и дверь студии захлопнулась за ней.

Дик сунул письма в карман, услышав, что скрипнула дверь, и окликнул:

– А, Торп! Это ты, дружище? Я так соскучился без тебя... я так одинок...

Его голос уже принял эту свойственную слепым безжизненность и безучастность. Мэзи прижалась в уголке комнаты и точно застыла; сердце ее бешено билось в груди, и она придерживала его рукой, силясь успокоить его смятение. Дик смотрел прямо на нее, и она теперь только ясно поняла, что он слеп. Когда она зажмурилась глазами в вагоне с тем, чтобы через минуту снова открыть их, она не понимала, что значит быть слепым. Это была просто пустая детская игра. А этот человек был слеп, хотя и глядел во все глаза, и эти глаза его были широко раскрыты.

– Торп, это ты? Мне сказали, что ты должен сегодня приехать. – Дик был, видимо, изумлен и даже несколько раздражен тем, что не было ответа.

– Нет, это я, – последовал наконец желанный ответ, произнесенный неестественным, напряженным, едва слышным шепотом. Мэзи с трудом шевелила губами.

– Хм!.. – произнес Дик совершенно спокойно и не изменяя своего положения. – Это что-то новое. К тому, что кругом меня царит беспросветный мрак, я уже начинаю привыкать, но чтобы мне слышались голоса, этого до сих пор со мной еще не бывало.

– Неужели же он не только потерял зрение, но и рассудок, что говорит сам с собой? – мелькнуло в мозгу Мэзи, и сердце ее забилось сильнее прежнего, и дыхание ее стало порывистым.

Дик поднялся со своего кресла и пошел, ощупывая на ходу каждый стол и стул, мимо которых он проходил. В одном месте он зацепился ногой за ковер и выругался, а затем опустился на одно колено, чтобы ощупать тот предмет, который явился помехой на его пути. Мэзи вспомнила вдруг, как он, бывало, шел по парку с таким видом, как будто весь свет и весь мир принадлежали ему, или расхаживал по ее мастерской уверенным шагом победителя всего только два месяца тому назад, и как он быстро взбежал на трап парохода, когда тот тронулся. Сердце ее билось так сильно, что ей начинало делаться дурно, а Дик подходил все ближе, направляясь на звук ее порывистого дыхания. Инстинктивно она протянула вперед руку не то, чтобы отстранить его, не то, чтобы привлечь его к себе; она сама не могла дать себе в этом отчета; рука ее коснулась его, и он отпрянул назад, точно в него выстрелили.

– Это Мэзи! – произнес он голосом, похожим на глухое рыдание. – Что ты делаешь здесь?

– Я приехала... я приехала повидать тебя.

Дик плотно сжал губы.

– Так почему же ты не сядешь? Как видишь, у меня тут случилась неприятная вещь с глазами... и...

– Я знаю, я знаю. Почему ты не сообщил мне об этом?

– Я не мог писать.

– Но ты мог бы поручить мистеру Торпенгоу сделать это за тебя.

– Какое ему дело до моих отношений с кем бы то ни было?.. Зачем ему вмешиваться в мои дела?..

– Он, это он ведь привез меня сюда из Витри, он сказал, что я должна поехать к тебе.

– Почему? Что такое случилось? Не могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен? Да нет, что я могу? Я совсем забыл...

– О, Дик, я так ужасно сожалею!.. Я приехала сказать тебе и... позволь мне отвести тебя на твое кресло.

– Прошу не делать этого! Я не ребенок. В тебе говорит только жалость. Я никогда не хотел говорить тебе об этом. Ведь я теперь ни на что не могу быть годен – моя песенка спета. Я конченный человек. Оставь меня!

Он ощупью вернулся на свое место у окна; грудь его высоко и порывисто вздымалась, когда он опустился в кресло.

Мэзи провожала его глазами, и страх, охвативший было ее душу, исчез; его заменило чувство горького стыда. Он высказал ту страшную правду, которую она скрывала от себя во время своего спешного переезда из Франции в Лондон. Действительно, он упал со своего пьедестала, и его песенка была спета. Он был конченный человек. Это уже не властный человек, а, скорее, несколько жалкий; не великий художник, импонирующий ей потому, что он в искусстве стоял много выше ее, и не сильный мужчина, на которого можно было бы опереться и ждать поддержки, а просто несчастный слепец, который сидит в своем углу и, кажется, готов заплакать. Она безумно, бесконечно жалела его, жалела его больше и сильнее, чем кого-либо во всей своей жизни, но все же не настолько, чтобы отрицать его слова, чтобы опровергнуть ужасную истину его слов. И она стояла молча и чувствовала жгучий стыд и даже некоторое огорчение и разочарование, потому что она искренне намеревалась и желала, чтобы ее поездка

окончилась торжеством Дика. А вместо того душа ее была полна только жалости к нему, жалости, не имевшей ничего общего с любовью.

– Ну что же? – сказал Дик, упорно отворачивая свое лицо. – Я никогда не имел намерения тревожить тебя впредь... Что с тобой?

Он слышал, что Мэзи дышит порывисто и громко, точно ей не хватает воздуха, но ни он, ни сама она не ожидали такого бурного приступа отчаяния, какой последовал за тем. Люди, которые нелегко дают волю слезам, обыкновенно не в силах сдержать своих слез, когда они прорвутся наружу, и Мэзи упала в ближайшее кресло и, закрыв лицо руками, рыдала неудержимо.

– Я не хочу, я не могу! – отчаянно восклицала она. – Право же, я не могу! Я в этом не виновата!.. Мне так обидно, мне так жаль, но я не могу... О, Дикки, мне, право, так жаль!..

Широкие плечи Дика выпрямились, как бывало, потому что эти слова были для него как удары хлыста по больному месту. Она все еще продолжала рыдать. Нелегко сознавать, что в час испытания вы не выдержали и не сумели или не смогли исполнить своего долга, что вы уступили и оробели перед самой возможностью принести жертву.

– Я так презираю себя... право... я себя презираю, но я не могу... О, Дикки, милый, ведь ты не потребуешь от меня... не правда ли? – жалобно хныкала и причитала Мэзи.

Она подняла на мгновение глаза и случайно взгляд ее встретился с глазами Дика, устремленными на нее. Его небритое лицо было страшно бледно, но спокойно каким-то окаменелым спокойствием, а губы силились сложиться в улыбку.

Но Мэзи боялась только этих невидящих глаз. Ее Дик ослеп и вместо себя оставил другого человека, которого она едва узнавала, пока он не заговорил.

– Кто же от тебя чего-нибудь требует, Мэзи? Зачем убиваться? Но, ради Бога, не плачь так, не стоит того, уверяю тебя.

– Ты не знаешь, как я ненавижу себя! О, Дик, помоги мне! Помоги мне, прошу тебя!..

Теперь она уже совершенно не могла совладать со своими слезами, рыдания ее до того усилились, что начинали тревожить Дика. Он кинулся к ней, обнял ее рукой, и ее голова опустилась к нему на плечо.

– Тише, дорогая, тише! Не плачь так, – уговаривал он ее. – Ты совершенно права, и тебе не в чем упрекать себя, ни теперь, ни раньше. Ты просто устала с дороги, и мне кажется, что ты не успела позавтракать, и от того твои нервы и расходились. Какой скотина этот Торп, что он привез тебя сюда!..

– Я хотела сама поехать! Право же, я хотела! – уверяла она.

– Хорошо, хорошо. Ну вот, ты и приехала, и повидала меня, и я тебе бесконечно благодарен за это. А когда тебе станет немного легче, ты уйдешь отсюда и позавтракаешь, и все будет хорошо.

Мэзи плакала теперь тише, силы ее таяли, и она первый раз в жизни была рада, что может преклонить к кому-нибудь свою голову. Дик ласково, но несколько неловко потрепал ее по плечу, потому что не был вполне уверен, где ее плечо. Наконец, она осторожно высвободилась из его объятий и стояла в ожидании, дрожа всем телом и чувствуя себя глубоко несчастной. Он ошупью вернулся на свое место у окна – ему нужно было, чтобы вся ширина комнаты отделяла его от нее, для того чтобы подавить душившее его волнение.

– Лучше тебе теперь? – спросил он.

– Да, но... разве ты не будешь ненавидеть меня?

– Я, тебя ненавидеть? О, мой Бог! Я?

– Нет ли чего, что бы я могла сделать для тебя? Я охотно останусь здесь в Англии и сделаю то, что ты захочешь... Может быть, ты желал бы, чтобы я приходила сюда и навещала тебя время от времени?

– Нет, не думаю, чтобы это было желательно, дорогая. Всего лучше нам никогда больше не видеться. Я не хочу быть грубым, но не кажется ли тебе, что тебе лучше было бы уйти сейчас же. – Он чувствовал, что не в состоянии дольше сдерживать себя и сохранять в ее присутствии достоинство мужчины, потому что нервное напряжение его достигло крайних пределов.

– Я ничего больше не заслужила, – покорно сказала она. – Я уйду, Дик. О, я такая несчастная!

– Пустяки. Тебе не о чем сокрушаться; я бы сказал тебе, если бы это было. Подожди одну минутку, дорогая, у меня есть маленький подарок для тебя. Я предназначал эту вещь для тебя, когда у меня началась эта история с глазами. Это моя «Меланхолия»; она была божественно прекрасна, когда я в последний раз видел ее. Ты можешь оставить ее у себя как воспоминание обо мне, а если тебе когда-нибудь придет нужда, то всегда сможешь продать ее за несколько сот фунтов, эти деньги тебе дадут за нее при любом состоянии рынка.

Он стал шарить по стенам, где стояли его начатые и незаконченные полотна.

– Она в черной раме. Это черная рама, та, что я теперь держу в руках?.. Да?.. Так вот она! Ну, что ты скажешь про нее?

И он повернул к Мэзи бесформенное пятно, смесь всевозможных красок, смазанных, сцарапанных, смытых и нещадно испачканных, и уставился на Мэзи напряженным взглядом, словно он надеялся, несмотря на свою слепоту, уловить восторг и восхищение на ее лице. Она могла сделать для него только одно – и это она должна была сделать для него, чего бы это ей ни стоило.

– Ну, что?

Голос его звучал гордо и уверенно, потому что он знал, что говорит о своем лучшем произведении, которым он был вправе гордиться.

Мэзи взглянула на эту страшную мазню, и безумное желание расхохотаться неудержимым сумасшедшим смехом охватило ее; этот смех сдавил ей горло так, что она не могла произнести ни звука. Что бы ни значило это безобразное пятно, все равно, ради Дика, шадя его, она не должна была показать вид, что с картиной что-то не ладно. Голосом, дрожащим от сдавленных истерических рыданий и смеха, она ответила, продолжая бессмысленно глядеть на бесформенное пятно:

– О, Дик! Это великолепно!

Он расслышал истерическое дрожание в ее голосе и принял его за дань восторга перед его произведением.

– Желаеть ты ее иметь? Если хочешь, я пришлю ее тебе на твою квартиру.

– Я? О, да, конечно, благодарю тебя!.. Ха, ха, ха!..

И если бы она не выбежала как сумасшедшая из комнаты, душивший ее смех, смех, более горький, чем слезы, заставил бы ее задохнуться.

Она бежала без оглядки, задыхаясь, не различая ничего перед собой, бежала вниз по лестнице, словно за нею гнались, и, очутившись на улице, вскочила в первый наемный экипаж, стоявший у крыльца, и поехала к себе. Здесь она села в своей почти пустой гостиной и думала о Дике, отныне совершенно бесполезном из-за своей слепоты, бесполезном до конца дней своих, и о себе думала, такой, какую она являлась в своих собственных глазах. А за скорбью, за стыдом и неудовлетворенностью собою, за чувством унижения, словно призрак, стоял страх, страх перед затаенным холодным презрением и глубокой ненавистью рыжеволосой девушки, когда Мэзи вернется к ней и та угадает все с первого же взгляда. До сих пор Мэзи никогда не боялась своей подруги. Никогда, вплоть до того самого момента, когда она сказала ей: «Да ведь он ничего не требовал, ничего не просил у меня» – и тогда она сама вдруг поняла, как глубоко она презирает себя и какой ложью и фальшью звучат эти слова.

И на этом кончается история Мэзи.

Что касается Дика, то ему судьба готовила еще целый ряд тяжелых испытаний. В первый момент он не мог понять, как это Мэзи, которую он просил уйти, ушла, не сказав ему ни слова на прощание. Он был жестоко зол на Торпенгоу, который своей затеей только разрушил его печальное душевное спокойствие и навлек на него это унижение. Конечно, «Королева не могла быть не права», но в своей правоте по отношению к тому, что касалось ее работы и ее задачи, она жестоко ранила своего единственного верноподданного, так жестоко, что даже его собственный рассудок не вполне мог понять эту жестокость.

– Это все, что было у меня, и я потерял и это! – сказал он себе, когда мысли его пришли наконец несколько в порядок. – А Торп воображает, что он сделал нечто удивительно умное, и у меня не хватит духа разочаровать его, беднягу, и рассказать ему, что из этого вышло. Надо хорошенько и спокойно все это обдумать.

– Это я! – крикнул Торпенгоу весело, входя в студию после того, как Дик часа два употребил на размышления. – Вот и я вернулся. Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше?

– Торп, я, право, не знаю, что тебе сказать. Пойди сюда!

И Дик хрипло кашлянул, решительно не зная, что ему сказать и как ему сказать это по возможности мягко и спокойно.

– Да к чему, собственно, непременно говорить что-нибудь? Встань, и давай походим! – довольным и веселым голосом предложил Торпенгоу.

И они стали, как бывало, ходить взад и вперед по комнате, Торпенгоу, положив руку на плечо Дика, а Дик, погружившись в свои мысли.

– Как это ты разузнал обо всем этом? – спросил наконец Пик.

– Тебе не следовало бы впадать в беспамятство и бредить по несколько суток подряд, если ты хочешь сохранять в тайне свои секреты, Дикки. Признаюсь, это было в высшей степени дерзко и непозволительно с моей стороны; но если бы ты видел меня, как я гарцевал на необъезженной французской полковой лошади под палящим солнцем, ты бы, наверное, рассмеялся... Сегодня опять будет шум и гам у меня в комнате... Соберутся еще семь чертей...

– Я знаю – все по поводу войны в Южном Судане. Я случайно подслушал их совещание в тот раз, и это причинило мне немало горя. Ну а ты наострил свои лыжи к отлету? На какую редакцию решил ты работать?

– Я не подписывал еще ни с кем условия. Я хотел посмотреть, чем окончится твое дело.

– Да неужели ты остался бы здесь со мной, если бы... если бы мои дела не устроились? – осторожно задал свой вопрос Дик.

– Не требуй от меня лишнего, ведь я только человек.

– Но ты весьма успешно пытался быть ангелом.

– О, да... да! Ну, так придешь ты на наше собрание сегодня? Мы все, вероятно, напьемся к утру, потому что, видишь ли ты, все уверены, что война неизбежна.

– Едва ли я приду, старина, если только ты не особенно настаиваешь на этом. Я лучше смиренно посижу здесь.

– И помечтаешь? Что ж, я тебя понимаю. Ты стоишь счастья больше, чем всякий другой... Ты его вполне заслужил!

В эту ночь на лестнице было много шума. Господа корреспонденты собирались, кто с обеда, кто из театра, кто из мюзик-холла или варьете, к Торпенгоу, у которого решено было встретиться, чтобы обсудить будущий план кампании. Торпенгоу, Кинью и Нильгаи пригласили сюда всех, с кем они когда-нибудь вместе работали, на эту оргию, и мистер Битон, управляющий этим домом, объявил, что никогда за всю свою богатую практику он не видывал такого странного сборища самых невероятных джентльменов. Они перебудили всех жильцов дома своим криком и пением; и старые люди среди них были ничуть не лучше молодых. Им предстояли все случайности войны, и все они хорошо знали, что это значит.

Сидя в своей комнате и несколько взволнованный доносившимся до него говором и шумом, Дик вдруг рассмеялся про себя.

«Если взглянуть со стороны, – подумал он, – то положение выходит в высшей степени комическое. Мэзи, конечно, совершенно права, бедняжка. Я не знал, что она может так плакать – этого никогда не случалось с ней раньше – но теперь я знаю, что думает Торп; я уверен, что он был бы способен на такое безумство, как остаться здесь для того, чтобы утешать меня, если бы только узнал о моем горе. А кроме того, вообще не особенно приятно признаться, что вас откинули, как выжатый лимон, или отшвырнули, как сломанный стул. Я должен вынести всю эту муку на своих плечах, как всегда, должен выстрадать все один. Если не будет войны и Торп раскроет мой маленький обман, все это можно будет обратить в шутку, вот и все. Если же война разгорится, то я не вправе стоять на дороге у человека и мешать его карьере. Дело делом, а дружба дружбой. И кроме того, мне нужно остаться одному – я хочу быть один... Как они там шумят!..»

Кто-то забарабанил в дверь студии.

– Выйдите к нам, Дикки, повеселитесь вместе с нами! – сказал Нильгаи.

– Я бы и сам хотел, но не могу. Я сегодня не в веселом настроении.

– Ну, так я скажу нашим ребятам, и они вас силком приволокут к нам.

– Нет, старина, лучше этого не делать, прошу вас; даю вам слово, я предпочитаю сейчас остаться один.

– Ну, хорошо. Но не прислать ли вам сюда чего-нибудь? Кассаветти уже начинает петь свои песни о знойном Юге.

С минуту Дик серьезно задумался над последним предложением... Напитаться, что ли?

– Нет, благодарю, у меня уж и так голова болит.

– Ах, добродетельное чадо мое! Вот оно, действие радостного волнения на молодых людей! Сердечно поздравляю вас, Дик, примите мои наилучшие пожелания. Ведь и я был немного замешан в этом заговоре, имевшем целью ваше благополучие.

– Убирайтесь к черту!.. Ах, да, пришлите ко мне Бинки.

Собачонка тотчас же явилась, еще сильно возбужденная всей происходившей вокруг нее возней, в которой и она все время принимала участие. Она участвовала даже в хоровом пении, которое действовало ей на нервы, но едва она очутилась в студии, как сразу сообразила, что здесь не место вилять хвостом, и тотчас же вспрыгнула на колени к Дику и пролежала у него, свернувшись клубочком, до тех пор, пока не пришло время ложиться спать.

Тогда Бинки пошел спать вместе с Диком, который, однако, считал удары часов вплоть до самого утра и потом встал с болезненно ясными мыслями и принимал уже более формальные поздравления радостного Торпенгоу, который затем подробно рассказал ему обо всем, что произошло и что говорилось у него вчера.

– Ты не выглядишь особенно счастливым женихом, – заметил, между прочим, Торпенгоу.

– Не обращай на это внимания, это уж мое дело. Я чувствую себя совсем хорошо. Итак, ты едешь?

– Да, по поручению того же Центрального Южного Синдиката, как и тогда; они телеграфировали мне, и я согласился, и на этот раз на лучших условиях, чем прежде.

– Когда же вы отправляетесь?

– Я еду послезавтра, на Бриндизи.

– Ну, слава Богу! – сказал Дик с чувством искреннего облегчения.

– Однако я не скажу, что это милая манера сказать человеку, что ты очень рад избавиться от него, – заметил Торпенгоу. – Но людям в твоём положении позволительно быть эгоистами.

– Я вовсе не то хотел этим сказать, – оправдывался Дик. – Кстати, возьми мне перед твоим отъездом сто фунтов из банка, и, по возможности, не крупными купюрами.

– Это, мне кажется, весьма незначительная сумма для будущего молодого хозяйства.

– О, это только на свадебные расходы, – сказал Дик.

Торпенгоу принес ему требуемую сумму – билетами пяти и десятифунтового достоинства, пересчитал их при нем и тщательно запер их в ящике стола.

«А теперь мне, вероятно, придется выслушивать бесконечные хвалебные излияния по адресу его нареченной вплоть до моего отъезда, – подумал про себя Торпенгоу. – Дай, Господи, терпения общаться с влюбленным человеком!»

Но Дик не обмолвился ни единым словом о Мэзи или о своем предстоящем браке. Он стоял в дверях комнаты Торпенгоу, пока тот укладывался, и забрасывал его вопросами о предстоящей кампании в Судане, откуда Торпенгоу не потерял наконец терпения.

– Какое же ты скрытное животное, Дик! – воскликнул он. – Ты, как видно, предпочитаешь глотать свой дым, чтобы его не видели люди, не так ли? – заметил он ему в последний вечер перед отъездом.

– Я... да, кажется, что я из этого сорта людей. Кстати, как ты думаешь, как долго может продлиться эта война?

– Несколько дней, или недель, или месяцев, трудно сказать... А может быть, затянется и на несколько лет.

– Хотел бы я поехать вместе с вами.

– Боже правый! Да ты самый непостижимый человек в мире! Разве ты забыл, что ты женишься? И благодаря мне, заметь!

– Да, конечно, я скоро женюсь, и я тебе страшно благодарен... Разве я тебе этого не говорил уже?

– Глядя на тебя, можно скорее подумать, что тебе предстоит не свадьба, а виселица, – заметил Торпенгоу полушутя, полусерьезно.

На другой день Торпенгоу простился с Диком и уехал, оставив его в одиночестве, которого он так страстно желал, бедняга.

XIV

– Прошу извинения, мистер Гельдар, но... но не предстоят ли вам важные перемены? – осведомился несколько дней спустя управляющий, м-р Битон.

– Нет!

Дик только что проснулся в самом мрачном состоянии безысходного отчаяния, и потому настроение у него было скверное.

– Это, конечно, не мое дело, сэр, и отнюдь не входит в круг моих обязанностей... я всегда говорю: делай свой дело и не суйся в чужие дела! Но мистер Торпенгоу дал мне понять перед самым своим отъездом, что вы как будто собираетесь переехать на собственную квартиру и намерены обзавестись собственным домом, так сказать, домом, в котором у вас будут парадные комнаты внизу и жилые, спальня, наверху и где вам будет удобнее и спокойнее, чем здесь, у нас, где за вами будет хороший уход, хотя я, со своей стороны, стараюсь поступать по-божески по отношению ко всем нашим жильцам, не правда ли, сэр?

– А-а! Он, вероятно, говорил о сумасшедшем доме, но я пока еще не хочу беспокоить вас своим переселением туда. Принесите мне, пожалуйста, завтрак и оставьте меня, я желаю быть один.

– Я надеюсь, что ничем не прогневил вас, сэр. Вам известно, что насколько это в моих силах, я всегда стараюсь угодить каждому из джентльменов, живущих в этом доме, а особенно тем из них, которые обижены судьбой, как вы, например, мистер Гельдар. Я знаю, вы любите мягкие, нежные селедки с молоками, не правда ли? Но мягкие и нежные селедки с молоками попадают реже, чем жесткие селедки с икрой, а все же я говорю себе: «Никогда не избегай лишних хлопот, если ты этим можешь угодить своим жильцам».

Дик упорно молчал, и м-р Битон тихонько ретировался, оставив его одного. Торпенгоу уже давно уехал, в его комнате не было шума, и Дик зажил теперь новой жизнью, которая казалась ему ничем не лучше смерти.

Тяжело жить одному в вечном мраке, не отличая дня от ночи, часто засыпая в полдень, просто от скуки, и беспокойно пробуждаясь на рассвете, когда кругом холодно и жутко. Сначала, пробудившись на заре, Дик ошупью пробирался по коридору, прислушиваясь, не храпят ли где-нибудь жильцы. Услышав храп, он заключал, что день еще не настал, и, усталый и разбитый, плелся обратно в свою комнату и ложился снова. Впоследствии он приучился лежать смирно и не вставать, пока в доме не начиналось движение и шум и пока м-р Битон не являлся и не рекомендовал ему встать. Одевшись, а одевание теперь, когда не было Торпенгоу, стало очень длительной и затруднительной церемонией, так как воротнички, галстуки и все остальное запрягивалось и заваливалось неизвестно куда, а отыскание их было всегда сопряжено с ушибами и натыванием на стулья, чемоданы и т. п., – одевшись, не оставалось ничего другого, как сидеть и думать свои невеселые думы до тех пор, пока ему не приносили завтрак, затем обед и, наконец, ужин.

Казалось, целые века проходили от завтрака до обеда и от обеда до ужина. И хотя несчастный молил целыми часами Творца, чтобы он отнял у него разум, Бог не слышал этой мольбы. Напротив того, разум его как будто обострился, и самые разнообразные мысли вертелись у него в голове, словно жернова, между которыми нет зерна, но мозг его не переутомлялся и не давал ему отдыха и покоя. Он продолжал работать, несмотря ни на что, воскрешая все прошлое. Вспоминалась Мэзи, бывшие успехи, смелые странствия на суше и на море и радость, вызванная сознанием, что любимая работа увенчана успехом, что она ладится и дает не только удовлетворение, но и опьяняющий восторг; воображение ярко рисовало ему еще и то, что он мог бы создать и что могло быть сделано им, если бы зрение не изменило ему. Когда же наконец утомленный мозг переставал работать, в душу Дика закрадывался безотчетный, бессмыслен-

ный страх; боязнь умереть от голода, страх, что на него может обрушиться невидимый для него потолок и придавить его; ужас возможного пожара и страшной гибели в пламени и множество других подобных и даже еще более ужасных страхов, доводивших его до состояния, близкого к безумию, страхов, не имевших ничего общего с боязнью смерти. Тогда Дик опускал голову и, вцепившись руками в ручки кресла, сидел неподвижно, обливаясь потом и стараясь побороть в себе эти страхи, пока, наконец, звон тарелок не возвещал ему, что принесли кушать.

М-р Битон приносил ему еду, когда находил время, то рано, то поздно, но Дик никогда не протестовал против этого. Он привык даже слушать разговор управляющего, вращавшийся вокруг испорченных газовых рожков, засоренных водосточных труб, нерадивости поденщика и провинностей прислуги. Но за неимением лучшего и болтовня прислуги приобретает известный интерес, и повреждение какого-нибудь водопроводного крана становится событием, о котором можно говорить целыми днями.

Раз или два в неделю м-р Битон брал с собой Дика на прогулку, отправляясь поутру на рынок за покупками. Дик молча слушал, как управляющий торговался с продавцами, выбирал рыбу, телячьи котлеты, покупал горчицу и тапиоку, а Дик тем временем стоял, переминаясь с ноги на ногу, и машинально щелкал счетами на прилавке. Иногда случалось, что м-р Битон встречал кого-нибудь из своих знакомых, и тогда Дик, отойдя немного в сторону, молча дожидался, когда м-ру Битону заблагорассудится вспомнить о нем и идти дальше.

Такая жизнь не способствовала развитию в нем чувства самоуважения, чувства собственного достоинства. Вскоре он перестал бриться, так как в его состоянии это было далеко не безопасное занятие, а предоставить это парикмахеру он не хотел, не желая обнаруживать перед посторонним человеком своего несчастья. Он не имел возможности следить, чтобы его платье содержалось в порядке, и так как он и раньше мало занимался своей внешностью, то весьма скоро превратился теперь в настоящего неряху. Слепой человек не может есть опрятно, пока не свыкнется окончательно со своим состоянием. Если же он прибегнет к посторонней помощи и станет раздражаться из-за отсутствия надлежащего ухода и присмотра за ним, то всякий сразу узнает, что он слеп, и следовательно, нечего с ним особенно церемониться. Во избежание этого благоразумный человек должен сидеть дома, уставившись в пол, и не напоминать о себе. Ради развлечения он может вытаскивать щипцами угли из корзины, складывать их на решетке камина и затем, тем же порядком, складывать их обратно в корзину или ящик. Кроме того, он может ради удовольствия решать в уме арифметические задачи или делать какие-нибудь вычисления; может беседовать сам с собой или с кошкой, если та соблаговолит его навестить, а если он был по призванию художник и имеет артистические наклонности, то может рисовать пальцем в воздухе воображаемые им картины. Он может также подойти к своим книжным полкам и пересчитывать по корешкам свои книги или переставлять их, или же пойти к бельевому шкафу и сосчитать, сколько у него рубашек, раскладывая их небольшими стопками на кровати, откладывая в сторонку те, у которых не хватает пуговиц или порваны петли. Но эти занятия со временем могут наскучить, а время тянется так бесконечно долго. Дикуну разрешено было перебирать и прибирать ящик с инструментами, в котором м-р Битон держал молотки, клещи, отвертки, куски газовых трубок и бутылочки, а также веревки.

– Если у меня не будет все лежать на определенном месте, то я никогда ничего не сумею найти, когда оно мне понадобится. Вы не можете себе представить, как много всякой мелочи требуется для этих комнат, – сказал м-р Битон и затем, уже взявшись за ручку двери, чтобы уйти, добавил: – Трудно вам, сэр, я это хорошо понимаю, что вам очень трудно. Вам бы хоть чем-нибудь заняться...

– Я ем и пью и плачу за свое содержание. Разве этого не достаточно?

– Мне и в голову не приходило усомниться в том, что вы в состоянии за все уплатить, но я часто говорю жене: «Ему тяжело, бедняге, особенно тяжело потому, что он человек не старый и даже не пожилой, а совсем еще молодой человек». Вот почему это так особенно тяжело.

– Да, вероятно, потому, – рассеянно и равнодушно отозвался Дик. Теперь эта особенно болезненная для его нервов тема стала уже менее чувствительной для него.

– Вот я и думаю, сэр, – продолжал м-р Битон, все еще делая вид, будто он собирается уйти, – что, может, вам было бы приятно иногда послушать чтение. Мой Альф мог бы заходить к вам прочесть газету вечером. Он читает превосходно, если принять во внимание, что ему всего еще только девять лет.

– Я был бы ему очень благодарен, – сказал Дик, – только я желал бы назначить ему какое-нибудь вознаграждение за это.

– Ах, помилуйте, сэр, мы и не думаем об этом. Но, конечно, на то воля ваша... А вы только послушайте, как Альф поет: «Ребенка лучший друг – мамаша!» Ах, доложу я вам, что это за умиление!..

– Хорошо, я его послушаю, пришлите его ко мне сегодня же вечером с газетами.

Альф был совсем не привлекательный ребенок, преисполненный самомнения благодаря хорошим отметкам за поведение и непомерно гордившийся своим пением.

М-р Битон с сияющей физиономией оставался в студии, пока мальчуган на манер молодого петушка тянул свою песню в восемь строф, по восьми строк каждая, и после того, как выслушал вежливые похвалы этому пению, удалился, оставив Альфа читать Дикю иностранные телеграммы и хронику. Спустя десять минут мальчик вернулся к своим родителям несколько бледный и смущенный.

– Он сказал, что не в состоянии вынести этого долее.

– Но ведь он не сказал, что ты плохо читаешь, Альф? – обиженно обеспокоилась миссис Битон.

– Нет. Он сказал, что я превосходно читаю, что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь читал так хорошо, как я, но что он не может вынести того, что пишут в газетах.

– Может быть, он понес большие убытки на каких-нибудь акциях?.. Читал ты ему что-нибудь об акциях, Альф?

– Нет, я все читал только о войне, там, где-то далеко, куда отправляют наших солдат, такой длинный-длинный столбец с частыми-частыми строками и множеством трудных и непонятных слов. Он дал мне полкроны за то, что я так хорошо читал, и сказал, что следующий раз, когда ему будет нужно что-нибудь прочитать, то он пошлет за мной.

– Это приятно слышать, а только я думаю, что за целые полкроны – спрячь деньги в копилку, Альф, спрячь на моих глазах, чтобы я видела, что ты их опустил в нее – я думаю, что за полкроны он мог бы продержать тебя дольше у себя. Ведь он, верно, не успел еще даже и оценить, как ты прекрасно читаешь, – сказала миссис Битон.

– Всего лучше оставить его в покое, – заметил ее супруг. – Джентльмены всегда предпочитают оставаться одни, когда они чем-нибудь расстроены или огорчены.

Полнейшая неспособность Альфа понять специальную корреспонденцию Торпенгоу с театра военных действий пробудила в Дике демона беспокойства и тревоги. Ему слышалось в гнусавом, нараспев, чтении Альфа урчание верблюдов за рядами солдат в лагере под Суакимом; слышалась брань, говор, шутки и смех солдат вокруг кипящих котлов, он чувствовал едкий запах дыма от костров и дыхание ветра, дувшего из пустыни. В эту ночь он опять молил Бога взять его душу или отнять у него разум и память, приводя в доказательство того, что он заслуживал эту милость, то обстоятельство, что он до сего времени не покончил с собой. Но и эта молитва не была услышана, и в глубине души Дик знал, что его удерживало от самоубийства отнюдь не чувство благочестия или какая-нибудь другая христианская добродетель, а какое-то живучее чувство самосохранения. Самоубийство, таково было его убеждение, было бы неприличным оскорблением глубокого трагизма его положения и в то же время малодушным признанием трусости перед испытанием.

– Просто из любопытства желал бы я знать, долго ли это протянется? – сказал Дик, обращаясь к кошке, которая теперь заменила Бинки в его обиходе. – На те сто фунтов, которые мне оставил Торп, я смело могу прожить год. У меня там в банке должно быть, по меньшей мере, две или три тысячи фунтов, иначе говоря, обеспечение на двадцать или тридцать лет, а затем у меня еще останутся мои наследственные полтораста фунтов годового дохода, которые к тому времени должны еще возрасти. Теперь рассчитаем так: двадцать пять – тридцать лет это самый расцвет для мужчины, как говорят; сорок пять – это средних лет человек, та пора, когда люди вступают на политическое поприще; пятьдесят пять – это, как пишут в некрологах: «умер сравнительно молодым, пятидесяти пяти лет от роду», – значит, во всяком случае, еще не старым... Баа! Как все мы, христиане, боимся смерти!.. Шестидесять пять – начинающий стареть человек, семьдесят пять наиболее вероятный возраст, до которого в среднем доживают здоровые люди. Силы небесные! Слышишь, киска, еще пятьдесят лет жизни в беспросветном мраке! Тебя не будет, и Бинки тоже подохнет, Битон умрет и Торп тоже умрет. Они все старше меня, и Мэз... и все, все умрут, а я все буду жить и маяться безо всякого дела, без всякой пользы. О, как мне жаль себя! Хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь другой пожалел, да, видно, не стою того. Очевидно, что с ума я не сойду до самой смерти, но от этого мне ничуть не легче. Если тебя, киска, когда-нибудь подвергнут вивисекции, привяжут к столу и начнут резать и потрошить, ты не пугайся – они примут все меры для того, чтобы ты осталась жива. Ты будешь жить, и тогда только ты пожалеешь о том, что не жалела меня. Может быть, Торп вернется назад или... Хотел бы я иметь возможность поехать к нему и к Нильгаи, даже в том случае, если бы я явился помехой для них.

Но киска тихонько вышла из комнаты, прежде чем Дик успел закончить свою речь, и Альф, войдя в студию, застал Дика беседующим с пустым местом на ковре перед камином.

– Вам письмо, сэр, – сказал мальчик. – Может, вы пожелаете, чтобы я прочитал его вам? – Дай мне его сюда на минутку, а потом я скажу тебе.

Протянутая к письму рука слегка дрожала, и голос тоже был не совсем тверд. Что, если?.. Нет, это письмо было не от Мэзи. Он слишком хорошо знал на ощупь ее конверты. Это была безумная надежда, чтобы она опять написала ему, потому что он не понимал, что есть зло, которого нельзя исправить, хотя бы тот, кто его совершил, от всего сердца и в слезах силился исправить его. Лучше всего забыть о содеянном зле, лучше всего забыть о нем, потому что оно так же неисправимо, как плохая работа, выпущенная на свет.

– Прочти письмо, – сказал Дик. – Я хочу узнать, что в нем написано. – И Альф принялся тянуть нараспев, как это требуется в школах: «Я могла дать вам и любовь и преданность, о каких вы не смели даже и мечтать. Я не спрашивала о том, кто вы и что вы. Но вы все пустили на ветер ни за грош. И единственное ваше оправдание, это то, что вы еще слишком молоды».

– Вот и все, – сказал Альф, возвращая Дикку письмо, которое тут же полетело в огонь камина.

– Что было в этом письме? – спросила миссис Битон, когда Альф вернулся.

– Я, право, не знаю. Я думаю, что это был циркуляр или наставление не бросать все на ветер, когда вы молоды.

– Верно, я кого-нибудь задел или обидел, когда еще был живым человеком и вращался среди людей, а теперь это припомнилось и ударило по мне. Прости ей Бог, кто бы она ни была, если только это не шутка. Но я не знаю никого, кто бы дал себе труд пошутить со мной... Любовь и преданность, и ничего взамен. Это довольно заманчиво... Неужели я в самом деле прошел мимо и не заметил... и потерял нечто настоящее?.. – Дик долго припоминал и раздумывал, но никак не мог вспомнить, как и когда он мог вызвать подобные чувства в сердце женщины.

Тем не менее это письмо, затрагивающее такие вопросы, о которых он предпочитал совершенно не думать, вызвало у него новый приступ бешеного отчаяния, которое мучило его

целый день и целую ночь. Когда душа его переполнялась отчаянием до того, что уже не могла больше вместить его, тогда он и душой и телом как бы проваливался в черную бездну, и его охватывал безумный страх, боязнь окружающего мрака и страшное стремление дорваться до света. Но для него не было света, для него он был недостижим. И когда эта попытка оставляла его, наконец, изнеможенным, обливающимся холодным потом и едва переводящим дух, тогда он чувствовал снова, что летит в бездонную пропасть, и снова начиналась та же безнадежная борьба со страхом и окружающей тьмой. И после этого наступал непродолжительный сон, и ему снилось, что он прозрел. А потом опять начиналось все снова, в том же порядке, до полного истощения сил, после чего мозг его бессознательно возвращался к нескончаемым мыслям о Мэзи и о том, что могло бы быть. В конце концов явился м-р Битон и предложил ему отвести его прогуляться, но не на рынок на этот раз, а просто погулять в парке, если он желает.

– Будь я проклят, если я пойду в парк! – закричал Дик. – Будем ходить взад и вперед по улицам. Я люблю слышать, как вокруг меня движутся люди.

Это было не совсем так. Слепые в первой стадии слепоты испытывают неприязненное чувство к людям, которые могут свободно двигаться, не опасаясь наткнуться на что-нибудь. Но Дик не имел никакого желания идти в парк по совершенно иным причинам. Всего один только раз с тех пор, как Мэзи выбежала из его студии, ходил он туда с Альфом, и Альф забыл о нем, увлекшись ловлей миног в речке с такими же мальчишками, как он. Прждав с полчаса своего поводыря, Дик, чуть не плача от бешенства и досады, поймал какого-то случайного прохожего, и тот передал его доброжелательному полисмену, который довел его до наемного экипажа, стоявшего против Альберт-Холла, и этот экипаж доставил его домой. Он не сказал ни слова м-ру Битону о забывчивости Альфа, но... это был отнюдь не тот род прогулок по парку, к какому он привык в прежнее время.

– По каким же улицам желали бы вы пройтись? – спросил м-р Битон предупредительно и сочувственно. По его личным понятиям, веселая праздничная прогулка заключалась в том, чтобы расположиться всей семьей где-нибудь в парке на траве, разложив вокруг себя с полдюжины пакетиков и сверточков со всевозможными яствами, и глазеть издали на прохожих.

– Пойдемте по набережной реки, – сказал Дик. И они пошли по набережной, и шум воды стоял у него в ушах, пока они не дошли до Блэк-фрайерского моста и не свернули с него на Ватерлооское шоссе. М-р Битон все время расписывал красоты пейзажа и всего того, что поражало его внимание.

– А вот там, на той стороне улицы, идет, если я только не ошибаюсь, та девушка, которая приходила к вам для того, чтобы вы с нее писали картины. Я, видите ли, никогда не забываю лица и никогда не забываю имен, кроме имен моих жильцов, конечно.

– Остановите ее, – сказал Дик. – Это Бесси Брок, скажите ей, что я желал бы поговорить с ней. Ну, живее! – Мистер Битон перешел через улицу и остановил Бесси. Она узнала его сразу, и ее первое движение было пуститься бежать.

– Ведь это вы были у мистера Гельдара? – сказал м-р Битон, загораживая ей дорогу. – Я знаю, что это вы. Он стоит там, на той стороне улицы, и желает видеть вас.

– Зачем? – едва слышно спросила Бесси. Она вспомнила, да, впрочем, она никогда и не забывала одной маленькой прделки с только что оконченной картиной.

– Он просил меня привести вас к нему, потому что он слеп.

– Пьян?

– Нет, совершенно слеп. Он ничего не видит. Это он вон там стоит.

Дик стоял, прислонясь к перилам моста, когда м-р Битон указал на него, небритого, сгорбленного, в нечищеном сюртуке и грязном, табачного цвета галстуке.

Такого человека нечего было бояться.

«Даже в том случае, если бы он вздумал погнаться за мной, – подумала Бесси, – то далеко не убежит».

И она перешла через улицу и подошла к нему. Лицо Дика просветлело от радости; давно уже ни одна женщина не достаивала его своим разговором.

– Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо, мистер Гельдар? – сказала Бесси несколько смущенно, а м-р Битон стоял тут же с видом уполномоченного посла, облеченного серьезной ответственностью.

– Как нельзя лучше, и, ей-богу, я очень рад вас видеть, то есть вас слышать, Бесси, – поправился он тотчас же. – Вы никогда не подумали заглянуть к нам и навестить нас после того, как получили свои деньги. Впрочем, я не знаю, зачем вам было заходить... Ну а теперь вы шли куда-нибудь с определенной целью?

– Нет, я просто гуляла.

– Не по старой привычке? – спросил Дик вполголоса.

– О нет, что вы! Я внесла залог, – Бесси произнесла это слово с особенной гордостью, – и поступила служанкой в бар, не приходящей, а живущей, и теперь я совершенно приличная служанка, уверяю вас, совершенно приличная.

М-р Битон не имел основания особенно полагаться на людскую добросовестность, и потому он счел за лучшее незаметно испариться, не сказав никому ни слова, и вернуться к своим газовым рожкам и домашнему хозяйству. Бесси заметила его бегство с некоторой тревогой; но до тех пор, пока Дик, как видно, ничего не знал о том зле, какое она ему причинила, ей было нечего опасаться.

– Это не легкое дело – вечно ворочать эти пивные краны, – заявила Бесси, – и, кроме того, они еще завели счетную кассу, так что, если вы за день обсчитаетесь хоть на один пенни, эта проклятая машина тотчас вам докажет. А впрочем, я не верю, чтобы эти машины были непогрешимы.

– Я только видел, как они работают... Мистер Битон!

– Он ушел.

– В таком случае, я боюсь, что мне придется попросить вас проводить меня домой, вы видите, – добавил он, подняв на нее свои незрячие глаза, и Бесси увидела. – Но, может быть, это вам не по пути? – нерешительно спросил он. – В таком случае я могу обратиться к полисмену.

– Нет, зачем же; я начинаю работать в семь утра и с четырех я совершенно свободна. Это необременительно, как видите.

– Боже мой, а я все время свободен. Как бы я хотел, чтобы и у меня было какое-нибудь дело или занятие. Пойдемте домой, Бесси.

Он повернулся и наткнулся на какого-то человека, который отскочил в сторону и при этом громко выругался. Бесси взяла его под руку, не сказав ни слова, так же, как она это сделала, когда он приказал ей в первый день встречи повернуть лицо к свету. Некоторое время они шли молча, Бесси ловко вела его в толпе, движущейся по тротуарам.

– А где... где теперь мистер Торпенгоу? – наконец осведомилась она.

– Он уехал в пустыню.

– А где это?

Дик указал вправо.

– На восток, южнее Европы и все дальше и дальше на юг... Одному Богу известно, как далеко.

Это объяснение решительно ничего не объяснило Бесси, но она ничего не сказала и молча следила за Диком, пока они не достигли благополучно его дома и его комнаты.

– Теперь нам дадут чай с тартинками, – весело сказал Дик. – Мы посидим и побеседуем. Вы не поверите, Бесси, как я рад, что снова вижу вас. Что заставило вас так поспешно покинуть нас?

– Я думала, что я вам больше не нужна, и не хотела докучать, – сказала Бесси, ободренная тем, что он, по-видимому, ничего не знал о ее проделке.

– Действительно, вы мне не были нужны, но потом... Во всяком случае, я очень рад, что встретил вас.

Они вошли в мастерскую, не встретив никого на лестнице, и Бесси заперла за собой дверь.

– Какой беспорядок! – заметила она. – Все это месяцами не прибиралось!

– Нет, всего только неделями, Бесси, нельзя же требовать, чтобы они особенно ухаживали за мной.

– А они могут требовать, чтобы вы им платили за услуги и уход? Негодные! Какая пыль везде, и на мольберте, и на картинах, и на полу... И даже на вашем платье!.. Хотела бы я поговорить с ними.

– Позвоните, чтобы нам дали чай, – сказал Дик и стал ощупью добираться до своего кресла у окна.

Бесси была тронута этим зрелищем, но теперь в ней проявилось известное чувство своего превосходства над слепцом, и чувство это сказалось в тоне ее голоса.

– Давно вы в таком положении? – спросила она сердито, словно слепота Дика также была виной прислуги.

– С того самого дня, как вы ушли от нас. Почти с той самой минуты, как я окончил свою картину. Я едва успел налюбоваться ею.

– И значит, они с того времени обирают и обкрадывают вас! Знаю я этих людей и их милые привычки... – Женщина может любить одного и презирать другого человека и все же сделает все на свете, чтобы спасти этого презираемого от обирания и мошеннических проделок. Возлюбленный ее может и сам за себя вступить, а этот другой, очевидно, дуралей или простофиля, нуждается в ее помощи.

– Я не думаю, что мистер Битон меня сильно надувает или обкрадывает, – сказал Дик, прислушиваясь с особой радостью к легкому шагу и шелесту юбок Бесси, которая живо и проворно порхала по комнате, прибирая то тут, то там.

– Чаю и тартинок! – скомандовала она явившейся на звонок прислуге. – Заварите три полных ложки, да не подавайте нам того старого чайника, который вы всегда давали, когда я, бывало, приходила сюда. Подайте другой!

Служанка удалилась, смущенная и возмущенная, а Дик невольно рассмеялся, а вслед за тем закашлялся от пыли, которую подняла, прибирая, Бесси.

– Что вы там делаете, Бесси?

– Привожу кое-что в порядок; ведь здесь словно в нежилой комнате! Как вы могли дойти до этого?

– А как я мог не допустить? Вы стираете пыль?

Бесси яростно принялась за это дело, и в самый разгар приборки явилась миссис Битон.

Ее супруг только что объяснил ей положение дела, вернувшись один с прогулки после того, как покинул Дика на попечение Бесси, оправдываясь своей излюбленной пословицей: поступай с другими так, как ты желал бы, чтобы другие поступали с тобой. После этого наставления миссис Битон поднялась вверх, чтобы поставить на свое место эту особу, которая осмеливается требовать крепкого чая и нетреснутый чайник, точно она имела право на то и на другое.

– Сандвичи еще не готовы? – спросила Бесси, не оборачиваясь и продолжая прибираться. Ведь она была уже не уличная потаскушка, а молодая девица, уплатившая залог прислужницы в баре, наравне с порядочными девицами, и получившая право разносить пиво и напитки приличным гостям, прилично и мило одетая в черное. Она не оробела перед миссис Битон, и обе женщины обменялись таким взглядом, который Дик, без сомнения, оценил бы, если бы он мог видеть. Положение сразу определилось: верх одержала Бесси, и миссис Битон молча ушла поджаривать и готовить тартинки, сопровождая это занятие едкими замечаниями насчет всяких натурщиц, потаскушек, шлюх и тому подобных особ.

– Говорю тебе, Лиза, что ему не надо перечить, – сказал м-р Битон своей супруге. – Альф, ступай играть на улицу, – обратился он к сыну. – Если ему не перечить и угождать, так он кроток, как овечка, а если его раздражать, то он становится хуже черта. Мы повихтали немало разных вещей из его комнаты, после того как он ослеп, и нам нельзя быть слишком строгими к нему. Правда, все эти вещи ни к чему слепому, но все же если дело дойдет до суда, то нам за это придется поплатиться. Да, я свел его сегодня с этой девицей потому только, что я чувствительный человек.

– Даже слишком чувствительный! – подтвердила м-с Битон, сваливая тартинки со сковородки на тарелку и вспомнив в то же время о красивой служанке, которой она отказала несколько времени тому назад из-за подозрения...

– И я несколько не стыжусь этого; и не нам судить его, до тех пор, пока он аккуратно платит. Я знаю, как следует обходиться с молодыми джентльменами, а ты знаешь, как им стряпать завтраки, обеды и ужины; и я говорю, пусть каждый делает свое дело, и тогда никаких хлопот не будет. Ну, неси свои тартинки и смотри, Лиза, не ссорься с этой девушкой. Его участь жестокая, и если его рассердить, то он начнет ругаться так, как я еще никогда в своей жизни не слышал.

– Этот чайник несколько лучше, – сказала Бесси, осматривая чайный прибор. – Благодарю вас, миссис Битон, вы можете идти, вы нам больше не нужны.

– Я и не собираюсь оставаться здесь, можете быть уверены, – отозвалась миссис Битон.

Бесси ничего на это не ответила; так всегда поступают настоящие леди, пренебрегая своими недругами, а когда вы уже стали прислужницей в баре первоклассного трактира, то стать настоящей леди можно в каких-нибудь пять минут.

Взгляд ее упал на Дика, сидевшего против нее, и его вид произвел на нее удручающее и вместе с тем отталкивающее впечатление. Весь перед его куртки был запылен, закапан и загрязнен пищей; рот под взъерошенными, неподстриженными усами жевал лениво, словно нехотя; лоб избородили глубокие морщины, а волосы на висках приняли тот мутный оттенок, который и можно и нельзя назвать сединой. Глубокое несчастье и заброшенность этого человека тронули ее, но в глубине души шевелилось скверное, злорадное чувство, что тот, который когда-то старался унижить ее, теперь сам был так глубоко унижен.

– Ах, как хорошо и приятно слышать вас подле себя, – сказал Дик, потирая руки от удовольствия. – Расскажите мне все о вашем баре, Бесси, и о вашем житье-бытье.

– Об этом нечего рассказывать. Главное, что я теперь совершенно приличная особа, вы бы это увидели с первого же взгляда... Ну а вам, как видно, не особенно хорошо живется. Почему вы так внезапно ослепли? И почему подле вас нет никого, кто бы за вами ухаживал?

Дик был так благодарен судьбе за то, что слышал звук женского голоса, что не обращал внимания на его тон.

– Я был ранен в голову во время схватки с неприятелем много лет тому назад, и это повредило мое зрение. А ухаживать за мной теперь кому же охота да и к чему же! Мистер Битон и его жена делают все, что мне нужно.

– Разве вы не знали каких-нибудь джентльменов и леди в ту пору, когда вы еще были здоровы?

– Да, конечно, знал кое-кого, но не хотел бы, чтобы они теперь ходили за мной.

– Вы из-за этого и бороду отпустили? Сбрейте ее, она вам страшно не идет.

– Боже мой, дитя мое, да вы, кажется, думаете, что я интересуюсь теперь тем, что мне идет или не идет!

– А вам следовало бы об этом подумать. Сбрейте эту бороду непременно к моему следующему приходу. Ведь мне можно будет иногда приходиться к вам, не правда ли?

– Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы стали заходить; мне кажется, что я не всегда хорошо относился к вам в былые дни; я имел глупую привычку сердить вас.

– Да, и как еще!

– Я очень сожалею теперь об этом, поверьте. Навешайте же меня, когда найдете возможным, и чем чаще, тем лучше! Видит Бог, что в целом мире нет ни одной души, которая дала бы себе труд позаботиться обо мне, кроме вас и мистера Битона.

– Уж нечего сказать, много он о вас заботится, да и она тоже! – воскликнула Бесси, выразительно кивнув в сторону дверей. – Они предоставляют вам перебиваться как-нибудь, а сами решительно ничего для вас не делают. Мне стоило только взглянуть, чтобы увидеть, что тут делается. Я приду к вам, и с радостью буду приходить сюда, но только вы должны побриться, постричься, одеть свежее платье, словом, вы должны привести себя в благообразный вид. На это платье даже смотреть противно.

– У меня где-то есть целые кучи нового платья, – сказал Дик как-то беспомощно.

– Я знаю, что у вас есть. Прикажите мистери Битону подать вам новую смену платья; я его вычищу, приведу в порядок и буду содержать в чистоте. Можно быть слепым как крот и все же не походить на оборванца.

– Неужели я похож на оборванца?

– О, мне вас очень жаль!.. Мне вас страшно жаль! – воскликнула она в искреннем порыве доброго чувства к этому человеку и схватила его руки. Он машинально наклонил голову, как бы намереваясь поцеловать ее – эту единственную в мире женщину, которая пожалела его от всей души, но она встала, собираясь уйти.

– Нет, нет, – остановила она его, – не раньше, чем вы снова приобретете вид настоящего джентльмена. И это вам вовсе не трудно, стоит только побриться и приодеться.

Он слышал, как она натягивала перчатки, и встал, чтобы проститься с ней. Она зашла сзади, неожиданно поцеловала его в затылок и выбежала так же быстро из комнаты, как в тот день, когда она уничтожила его «Меланхолию».

– Подумать только, что когда-нибудь поцелую мистера Гельдара, – сказала себе Бесси, – после всего того, что он сделал мне и другим!.. Но мне безгранично жаль его, и если он выбрется, то будет, право, недурен, но... Ох уж мне эти Битоны! Как подло они поступают по отношению к нему. Я знаю, что Битон носит его рубашки, и готова поручиться, что и сегодня на нем была одна из его рубашек... Завтра я увижу... Хотела бы я знать, много ли у него осталось из его белья и вещей и вообще много ли у него денег?.. Может быть, это будет выгоднее бара. Работы, можно сказать, почти никакой, и совершенно так же прилично, если никто не будет знать.

Дик был благодарен Бесси за ее прощальный поцелуй. Всю ночь он и во сне ощущал его на своем затылке, и в числе других побудительных причин он в значительной степени утвердил его в решимости выбриться и постричься. Потому он действительно призвал брадобрера, сменил белье, сбрил бороду, причесался и почувствовал себя гораздо лучше. Новое платье, свежее белье, благопристойный вид, а главное, сознание, что кто-то интересуется тем, как он выглядит, настолько подбодрили его, что заставили его выпрямиться и смотреть веселее. Мысль на время оторвалась от воспоминаний о Мэзи, которая при иных условиях могла бы одарить его этим поцелуем и еще миллионами других подобных поцелуев.

– Давай подумаем, – сказал себе Дик после раннего завтрака. – Конечно, она не может меня любить, и бабушка надвое сказала, придет ли она или нет, но если деньги могут купить мне ее уход, я куплю его. Никто другой, кроме нее, не захочет со мной возиться, а я могу щедро оплатить ее труды. – Он потер рукой свой только что выбритый подбородок и стал несколько сомневаться в ее приходе.

– Да... надо думать, что я походил вчера на какого-нибудь бродягу – продолжал он, – но у меня не было никакого основания наблюдать за своей внешностью. Я знал, что пища капала на мое платье и пачкала его, и я несколько не остерегался... Это будет жестоко с ее стороны, если она не придет. Она должна прийти. Ведь Мэзи пришла один раз, и этого было довольно для

нее. Она была совершенно права. У нее есть ради чего работать... а у этого существа только и дела, что наливать пиво в кружки, если только она не сумела склонить какого-нибудь юнца к сожительству с ней. Подумать только, быть обманутым ради какого-нибудь конторщика! Как низко мы пали, Боже мой!

И что-то громко кричало в его душе, что эта обида будет болезненнее всего, что до сего времени случилось с ним; что она будет постоянно напоминать и мучить и воскрешать былые призраки, в конце концов доведет его до умопомешательства.

– Я знаю это, знаю! – воскликнул Дик, в отчаянии ломая руки. – Боже правый, да неужели несчастный слепец никогда ничего не добьется от жизни, кроме своей троекратной еды в сутки да засаленной и запятнанной куртки? О, как бы я хотел, чтобы она пришла!

И она пришла после полудня, потому что в ее жизни в этот момент еще не было никакого конторщика и она думала о материальных выгодах, которые позволят ей впоследствии жить в праздности до конца дней своих.

– Я бы вас положительно не узнала, – сказала она одобрительно. – Вы теперь совершенно такой же, каким были раньше, – настоящий джентльмен, гордящийся собою и внушающий почтение.

– В таком случае, я, может быть, заслуживаю еще один поцелуй? – сказал Дик, слегка покраснев.

– Возможно, что заслуживаете, но вы его еще не получите. Прежде всего присядьте, и обсудим, что я могу сделать для вас. Я уверена, что мистер Битон обсчитывает вас бессовестно, с тех пор как вы не можете просматривать его хозяйственные счета за каждый истекший месяц. Ну, разве это не так?

– Не смею спорить, но, в таком случае, всего лучше было бы вам приняться за мое хозяйство.

– Вы знаете так же хорошо, как я, что здесь, в этих комнатах, это невозможно.

– Знаю, но мы могли бы поселиться где-нибудь в другом месте, если бы вы согласились.

– Я, во всяком случае, могла бы ухаживать за вами, но вы понимаете, что я не могу и не хочу работать на нас двоих.

Это была, так сказать, «проба». Дик весело рассмеялся.

– Вы, верно, помните, где я обыкновенно держу свою банковскую расчетную книжку, – сказал он. – Торп перед самым своим отъездом возил ее в банк, чтоб подвести баланс. Загляните в нее, и вы сами увидите.

– Обыкновенно она лежала под табакеркой. Вот она!

– Ну?..

– Ой, ой! Четыре тысячи двести десять фунтов, девять шиллингов и один пенни!

– Пенни вы можете взять себе. Недурно за один год работы. Как вам кажется, всего этого и плюс еще сто двадцать фунтов годового дохода будет достаточно для нас?

Праздная жизнь и красивые наряды были теперь почти в ее руках, но она должна была доказать ему хозяйственностью и деловитостью, что она заслуживает то и другое.

– Да, но в случае вашего переезда нам придется проверить наличие ваших вещей. Я боюсь, что ваш мистер Битон перетаскал отсюда немало вещей, потому что комнаты ваши кажутся теперь гораздо более пустыми, чем были раньше.

– Не беда, пусть эти вещи остаются у Битона. Единственная вещь, которой я дорожу и которую я непременно хочу увезти с собой, это моя последняя картина, для которой вы мне позировали и при этом проклинали меня на все лады. Мы отсюда выедем, Бесси, и поселимся как можно дальше от этих мест.

– О, да, – сказала она смущенно.

– Я, право, не знаю, куда мне уйти от самого себя, но все же попытаемся, а вы будете иметь столько нарядных платьев, сколько вы захотите: мне это будет приятно. Поцелуйте же

меня теперь, Бесси. Боже мой, как это приятно – снова обнять женщину за талию и привлечь ее к себе!

Но нельзя безнаказанно изменять своему истинному чувству; в этот момент Дику представилось, что было бы, если бы его руки вот так же обхватили Мэзи, и они обменялись поцелуем, и от ощущения острой душевной боли он крепче прижал к себе недоумевающую девушку, которая в это самое время обдумывала, как ему объяснить неприятный случай с «Меланхолией». Если этот человек желал наслаждаться ее обществом, а без нее он, конечно, снова впадет в свое прежнее одичалое состояние, то он, вероятно, выскажет ей только некоторое огорчение по этому поводу; во всяком случае, будет очень интересно увидеть, что из этого выйдет, а, кроме того, согласно ее жизнепониманию, мужчине было полезно испытывать известного рода страх перед своей подругой.

Нервно рассмеявшись, она выскользнула из его объятий.

– Я бы не стала так беспокоиться об этой картине на вашем месте, – сказала она.

– Она должна быть здесь где-нибудь, у стены, за другими картинами. Разыщите ее, Бесси; ведь вы знаете ее так же хорошо, как и я.

– Да, я знаю... но...

– Но что? Вы, конечно, достаточно ловки, чтобы суметь продать ее какому-нибудь крупному торговцу. Женщины лучше умеют торговаться, чем мужчины. Эта картина может дать нам восемьсот или девятьсот фунтов, на... на наши расходы. Я просто не хотел думать о ней в последнее время, в ней была замешана моя личная жизнь. Ну а теперь я сжигаю корабли и хочу разделаться со всем, что у меня было связано с моим прошлым, да! Хочу начать все сначала, Бесси!

Теперь она стала горько раскаиваться в том, что она сделала, потому что она знала цену деньгам, хотя, конечно, было весьма возможно, что слепой сильно преувеличивал ценность этой картины. Она знала, что господа художники вообще склонны до нелепости высоко оценивать свои собственные произведения, и она хихикнула, как хихикает взволнованная горничная, когда хочет признаться, что разбила дорогую вазу.

– Я очень сожалею... но вы, вероятно, помните, что я очень сердилась на вас, когда уехал мистер Торпенгоу.

– Да, дитя мое, и я думаю, что вы имели на это некоторое право.

– Ну и тогда я... да неужели мистер Торпенгоу не сказал вам?

– Не сказал мне... чего? Да что вы тут болтаете о всяких пустяках, когда вы прекрасно могли бы подарить мне еще один поцелуй!

Он уже начинал познавать, и не в первый раз в своей жизни, что поцелуи принадлежат к числу возбуждающих ядов, которых чем больше глотают, тем больше их хочется. Бесси поспешно поцеловала его и прошептала:

– Я была так зла на вас тогда, что стерла ее скипидаром и выскребла ножом. Вы не сердитесь на меня за это? Нет?

– Что?.. Скажите еще раз!

Пальцы его впились в ее руку и сжимали ее до боли.

– Я стерла ее скипидаром и выскребла ножом, – пролепетала едва внятно Бесси. – Я думала, что вы напишете ее снова еще раз. А вы написали ее еще раз, нет?.. Пустите мою руку, мне больно!

– И ничего от этой картины не осталось?

– Ничего, чтобы хоть сколько-нибудь походило на картину. Мне, право, ужасно жаль... Я не знала, что это вас так огорчит; я хотела только позлить вас, причинить вам досаду. Это была шутка с моей стороны... Вы не побьете меня за это?

– Побить вас? Нет! Дайте подумать.

Не выпуская ее руки, он стоял, уставившись глазами на ковер, и что-то соображал. Затем он тряхнул головой, как молодой бык, получивший удар обухом по переносице, заставляющий его вернуться в загон бойни, из которого он хотел уйти. В течение многих недель Дик старался не думать о «Меланхолии», потому что она была частью его погибшей прежней жизни. С возвращением Бесси и недавно зародившимися проектами новой жизни «Меланхолия», даже еще более прекрасная, чем она была на холсте, снова предстала в его воображении. Благодаря ей он рассчитывал получить много денег для того, чтобы повеселить и порадовать Бесси и помочь себе забыть Мэзи и испытать еще раз почти забытое наслаждение успехом и прославлением его таланта. О картине должны были заговорить, она не могла пройти незамеченной. И вот благодаря злостной проделке этой тупой девчонки все рушилось, даже и отдаленная надежда, что когда-нибудь с течением времени он сможет найти в себе какое-нибудь чувство к этой девчонке. Но хуже всего было то, что он сделался смешным в глазах Мэзи. Женщина может простить мужчине, погубившему дело всей ее жизни, если он вознаградит ее за это своей любовью, а мужчина может простить того, кто погубит его любовь, но никогда не простит уничтожения своей работы.

– Так, так, так, – процедил Дик сквозь зубы и затем тихонько рассмеялся. – Это судьба, предначертание свыше, Бесси, – сказал он. – И, принимая во внимание многое другое, это мне поделом за то, что я сделал. Клянусь Юпитером, теперь я понимаю необъяснимое бегство Мэзи! Она, вероятно, подумала, что я сошел с ума. Неудивительно!.. Вся картина совершенно уничтожена? Не так ли? Для чего вы это сделали?

– Чтобы досадить вам, потому что я была зла на вас. А теперь я несколько не зла, мне страшно жаль, право.

– Странно... Впрочем, это ничего. Я сам виноват в том, что сделал ошибку...

– Какую ошибку?

– Вы этого не поймете, душенька... Подумать только, что такой комочек грязи, как ты, мог выбить меня из седла! – бормотал про себя Дик, в то время как Бесси силилась высвободить свою руку, которую он сдавил, как клещами.

– Я вовсе не комочек грязи, и вы не должны меня так называть! Я это сделала, потому что ненавидела вас, а теперь мне жаль, очень жаль, потому что... потому что вы...

– Так, так, потому что я слеп. Ну да!

У этих маленьких созданий нет ничего похожего на чувство такта. Бесси принялась всхлипывать; она не любила, когда ее держали силой, и боялась незрячих глаз Дика и в то же время злилась, что ее жестокая месть вызвала только смех у Дика, а вовсе не злобу или отчаяние.

– Не плачьте, Бесси, – сказал он и обнял ее. – Ведь вы считали себя вправе поступить так, как вы поступили, не правда ли?

– Я не комочек грязи, и, если вы будете так говорить, я никогда больше не приду к вам.

– Вы сами не знаете, что вы сделали мне, но я не сержусь, право, нет! Успокойтесь на минутку, посидим тихо.

Бесси словно замерла в его объятиях, хотя продолжала вздрагивать. Первая мысль Дика была о Мэзи, и она обожгла его, как раскаленное железо, приложенное к свежей ране. Нельзя безнаказанно сблизаться с другой женщиной, когда у сердца есть избранница. Первая размова и первое воспоминание о погибшем прошлом только пролог к драме, так как жестокая, но справедливая судьба, находящая наслаждение в том, чтобы мучить людей, решила раз навсегда, чтобы в минуты самого пылкового увлечения или самого сладкого упоения боль и муки былой любви давали себя чувствовать с новой силой. И муки эти одинаково знакомы как отвергнувшим любовь, так и тем, кто был отвергнут, когда они пытаются найти утраченное счастье в объятиях другой или другого. Лучше оставаться одному и терпеть грусть одиноче-

ства, стараясь подавить ее усиленной работой, кому это доступно, а если нет, то тем хуже для несчастного.

Обо всем этом и многом другом думал Дик, прижимая Бесси к своей груди.

– Хотя ты этого не знаешь, – сказал он, подняв наконец голову, – но Господь справедлив и грозен, Бесси. Он мне дал хороший урок, и поделом мне, ох как поделом! Торп понял бы это, если б он был здесь. Он тоже, вероятно, вынес немало от вас, дитя, но, конечно, этого хватило не надолго. Я спас его. Я спас его. Пусть это мне зачтется когда-нибудь.

– Пустите меня, – сказала Бесси, – пустите меня! – И при этом лицо ее омрачилось.

– Все в свое время, дитя мое. Посещали вы когда-нибудь воскресную школу?

– Никогда! Пустите меня, говорю я вам! Вы смеетесь надо мной.

– Право же, нет. Я смеюсь только над собой. Помните слова Евангелия: «Спасавший других, теперь спаси самого себя». Это, положим, не совсем школьный текст, ну да не все ли равно...

Он выпустил ее руку, но так как он стоял между ней и дверью, то она не могла бежать.

– И такое громадное зло может причинить такая ничтожная маленькая женщина!

– Мне очень жаль... очень-очень жаль того, что я сделала с картиной, – уверяла она.

– А мне нет. Я даже благодарен вам за то, что вы ее уничтожили... Да... о чем мы с вами говорили перед тем, как вы упомянули об этом?

– Об отъезде отсюда и о деньгах; о том, что мы с вами решили уехать отсюда.

– Да, да... конечно, мы уедем... то есть я уеду.

– А я?

– А вы получите пятьдесят фунтов за то, что уничтожили мою картину.

– Так вы не хотите?..

– Боюсь, что нет... Вы лучше подумайте о пятидесяти фунтах, которые будут в полном вашем распоряжении.

– Но вы говорили, что не можете обойтись без меня...

– Так оно было еще очень недавно. Но теперь благодаря вам я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Подайте мне, пожалуйста, мою шляпу.

– А если я не подам?

– То мне ее подаст Битон, а вы потеряете пятьдесят фунтов, вот и все. Дайте же!

Бесси выругалась про себя. Она искренне пожалела этого человека и почти так же искренне целовала его, потому что он был довольно красив; ей нравилось быть в некотором роде в течение некоторого времени его покровительницей, а самое главное, у него было четыре тысячи фунтов, которыми можно было распоряжаться. А теперь благодаря ее женской болтливости и чисто женскому желанию чуть-чуть помучить человека она потеряла все – и право распоряжаться его деньгами, и праздную жизнь, и наряды, как у настоящей леди, и respectable положение, которое позволило бы ей внешне походить на настоящую леди.

– Теперь набейте мне трубку, Бесси. Хотя табак и потерял для меня всякий вкус, но это ничего, я хорошенько обдумаю все, что нужно... Какой у нас сегодня день?

– Вторник.

– Значит, в четверг отправление... Какой я был дурак, какой слепой дурак я был до сегодняшнего дня! Двадцать два фунта стоит проезд; прибавим десять на добавочные расходы. Надо по старой памяти завернуть к госпоже Бина. Вместе это составит тридцать два фунта. Сто фунтов на конечное путешествие... То-то Торп удивится, когда меня увидит... Затем остается еще семьдесят восемь фунтов для бакшиша, уж без этого никак нельзя... на всякий случай... О чем вы плачете, Бесси? Вы ни в чем не виноваты, виноват я один. Ах вы, маленькая упрямица! Утрите скорее ваши глазки и пойдете. Где моя расчетная и чековая книжки? Дайте их сюда... подождите... Четыре тысячи фунтов по четыре процента верных составит сто шестьдесят фунтов годового дохода, да еще сто двадцать фунтов, тоже верных, уже будет двести

восемьдесят, да триста ее собственных, о, это царский доход для одинокой девушки. За нее можно быть спокойным. Бесси, едемте в банк!

Получив двести десять фунтов наличными и спрятав их в кожаный пояс, Дик просил теперь уже окончательно растерявшуюся Бесси отвести его в контору паровой компании, где он вкратце объяснил, что ему нужно.

– Первый пароход в Порт-Саид; каюту первого класса, ближайшую к багажному люку. Какой пароход идет?

– «Кольгонг», – сказал конторщик.

– Знаю, двухмачтовик. Откуда отправляется?

– От пристани Галлеонов, в четверг, двенадцать сорок.

– Благодарю. Разменяйте, пожалуйста, эту ассигнацию и сдачу положите мне в руку, я плохо вижу.

– Вот если бы все пассажиры были так сговорчивы, вместо того, чтобы часами говорить о своем багаже и чемоданах, то наша жизнь была бы куда легче, – заметил конторщик своему соседу, который всячески убеждал какую-то даму, что сгущенное молоко чрезвычайно полезно для грудных детей, и так как ему было всего девятнадцать лет от роду, то он говорил с большой убежденностью.

– Теперь, – сказал Дик, вернувшись в свою студию и ощупывая на себе пояс с деньгами и билетом, – теперь мы вне власти людской, дьявольской или женской, что всего важнее. Мне нужно еще устроить три маленьких дела, но я обойдусь тут и без вашей помощи, Бесси. Приходите сюда в четверг утром, к девяти часам. Мы позавтракаем, и вы проводите меня на пристань.

– Что вы хотите делать?

– Уехать, конечно. Чего ради мне оставаться здесь?

– Но ведь вы не можете обойтись без ухода!..

– Я теперь все могу. Я и сам этого не подозревал раньше, а теперь я вижу, что все могу. Я уже сделал самое главное, и такая решимость заслуживает одного поцелуя, если Бесси ничего не будет иметь против. – Но оказалось, что Бесси имела что-то против, и Дик весело рассмеялся. – Вы правы, Бесси. Приходите послезавтра к девяти часам, и вы получите обещанные деньги.

– Обязательно получу?

– Я никогда не обманываю. Вы сами в этом убедитесь, если придете. Боже, как долго ждать до четверга!.. До свидания, Бесси, пришлите мне Битона, пожалуйста.

Управитель явился.

– Сколько стоит обстановка моих комнат? – спросил Дик несколько свысока.

– Мне трудно сказать, сэр, некоторые вещи хороши, другие никуда не годятся.

– Они застрахованы на двести семьдесят фунтов.

– Страхование полисы, сэр, не могут приниматься за правильную оценку; впрочем, я не хочу этим сказать...

– Черт возьми все ваши увертки! Как будто я не знаю, что вы хорошо нажились на мне и на других жильцах этого дома и теперь сами задумали снять или открыть доходный дом. Так отвечайте прямо, сколько вы даете за мою обстановку.

– Пятьдесят фунтов, сэр.

– Дайте вдвое больше или я половину переломлю и половину сожгу, чтобы вам ничего не досталось.

Он ощупью добрался до этажерки с альбомами и книгами и выломал один из столбиков красного дерева, поддерживавших его.

– Что вы делаете, сэр! Это безбожно! – воскликнул м-р Битон.

– Это мое добро! Даете сто фунтов?

– Даю, даю... Ведь одна починка этой этажерки мне будет стоить фунта три с половиной, не меньше.

– Конечно. Ну и продувной же вы человек, как я вижу!

– Надеюсь, что я ничем не прогневал никого из своих жильцов, а всех меньше вас, сэр.

– Не будем говорить об этом. Принесете мне деньги завтра и позаботьтесь уложить все мое белье и платье в маленький коричневый чемодан, обтянутый воловьей шкурой. Я уезжаю.

– Но следовало уведомить за три месяца.

– Я уплачу за них полностью, а теперь присмотрите за укладкой и оставьте меня одного.

М-р Битон принялся обсуждать с женой этот внезапный отъезд Дика, и жена решила, что главной виновницей отъезда должна быть эта Бесси, а супруг ее относился к этому более снисходительно.

– Конечно, это очень неожиданно, но это в его характере. Ты только послушай, как он распелся.

Действительно, из комнаты Дика доносилось пение.

Мы не вернемся, ребята, домой,
Мы не вернемся домой никогда!
Мы к черту гостить заберемся,
А уж домой не вернемся.
Не доплывем, так на дно пойдём.
Не доплывем, к водяному сойдём.
Только домой не вернемся!
Только домой не вернемся!

– Мистер Битон! Куда к черту девался мой пистолет?

– Живее! Он сейчас застрелится! Как видно, он помешался! – решила м-с Битон.

М-р Битон заговорил с Диком успокаивающим тоном, но Дик, бешено шагавший из угла в угол своей комнаты, не сразу уловил в его словах обещание все разыскать к завтраку.

– Ах вы, старый болван! – зарычал на него Дик. – Да вы, кажется, вообразили, что я вздумал застрелиться!.. Так возьмите его своими дрожащими руками, только предупреждаю, что если вы дотронетесь до него, то он выстрелит, потому что он заряжен. Он должен быть где-нибудь вместе с моим походным костюмом, вероятно, в ящике на дне сундука.

Дик давно приобрел себе полное походное снаряжение, соответствующее тому, чему его научил его многолетний опыт. И теперь он старался разыскать и проверить на ощупь все это хранившееся где-то в кладовке имущество.

М-р Битон вытащил револьвер со дна чемодана, а Дик ощупывал руками куртку и брюки цвета хаки, голубые холщовые портянки и толстые фланелевые рубашки, лежавшие поверх фляжки, пару шпор и альбом для набросков.

– Это нам больше не нужно, – с горечью заметил Дик, дотрагиваясь до альбома. – Можете оставить его себе, а все остальное уложите хорошенько в мой чемодан, на самый верх, а когда покончите с укладкой, приходите ко мне в студию вместе с вашей женой, вы мне нужны оба. Пойдите, дайте мне перо, чернила и лист бумаги.

Нелегко писать, когда человек совершенно слеп, а Дику было особенно важно, чтобы то, что он писал, было четко и ясно написано. И он стал писать, придерживая правую руку левой: «Неразборчивость этого письма объясняется тем, что я слеп...» – Хм! Полагаю, что даже законвед не усомнится в этом. Документ должен быть скреплен подписью, но, кажется, не нуждается в засвидетельствовании... Теперь несколько ниже: «Я, Ричард Гельдар, находясь в здравом уме и твердой памяти, сим заявляю свою последнюю волю и прошу считать таковую моим законным завещанием». – Ах, почему я не научился печатать на пишущей машинке. – «Ника-

кого предварительного завещания я до сего времени не составлял и не отменял...» Так!.. Проклятое перо!.. Где я тут писал? – «Завещаю все мое состояние, а именно четыре тысячи фунтов и две тысячи семьсот двадцать восемь фунтов...» – Ах, я никак не могу вывести этого прямо, я это чувствую, – и он оборвал пол-листка и принялся писать снова, особенно старательно выводя буквы, – «словом, все, что я имею наличными деньгами и бумагами, завещаю», – далее следовало полное имя Мэзи и наименования тех двух банков, в которых находились его деньги.

– Все это, может быть, и не совсем по форме, но нет ни одной души на белом свете, которая имела бы хоть тень какого-нибудь права оспаривать и опротестовывать это завещание. На всякий случай припишу еще адрес Мэзи... Войдите, мистер Битон!.. Вот моя подпись, я желал бы, чтобы вы и миссис Битон засвидетельствовали ее... Вот так, благодарю вас... Завтра вы проводите меня к хозяину, и я уплачу за три месяца по условию и оставлю у него, так как он нотариус, это мое завещание, на случай, если со мной что-нибудь приключится во время моего отсутствия. Ну а теперь затопим камин в студии, и вы останетесь здесь и будете подавать мне мои письма, записки, рисунки и бумаги, по мере того как я буду спрашивать их у вас.

Никто не знает, пока сам лично не убедится, какой великолепный костер можно устроить из копившихся годами писем, записок, набросков, дневников и всякого рода документов. Дик побросал в огонь все, каждый клочок бумаги в мастерской, кроме трех сильно потрепанных нераспечатанных конвертов. Он безжалостно уничтожил альбомы с рисунками и набросками, записные книжки и совершенно новые и недоконченные холсты.

– Какая бездна всякого хлама накапливается у каждого жильца, который долго живет в одном месте, – заметил м-р Битон.

– Да, действительно, – соглашался Дик. – Осталось еще что-нибудь? – спросил он, шаря рукой по стенам.

– Ничего, а камин раскалился докрасна.

– Прекрасно, а вы потеряли, по меньшей мере, на сто фунтов набросков и этюдов, судя по тому, как мои работы ценились. Ха, ха!.. Ведь я был не кто-нибудь!

– Да, сэр, – вежливо подтвердил Битон; он был совершенно уверен, что Дик помешался, а то он никогда бы не расстался, чуть не за понюшку табаку, со своей ценной и прекрасной обстановкой. Ну а что касается этих холстов, то они только занимают место на чердаках, и потому всего лучше навсегда избавиться от них.

Теперь оставалось только передать завещание в надежные руки, но этого нельзя было сделать раньше завтрашнего дня. Дик шарил руками по полу, по ящикам и по столам, чтобы убедиться, что нигде не осталось ни единого исписанного лоскутка или клочка бумаги, свидетеля его прошлой жизни, и, убедившись в этом, он сел перед камином и сидел до тех пор, пока огонь в нем не погас и охлаждающееся железо не стало потрескивать в ночной тишине.

XV

– Прощайте, Бесси! Я обещал вам пятьдесят фунтов, вот вам все сто, это все, что я выручил за свою обстановку, которую продал Битону. Эта сумма даст вам возможность не отказывать себе в нарядах некоторое время. В общем, вы оказались доброй девочкой, хотя и доставили и мне и Торпенгоу немало хлопот.

– Передайте мистеру Торпенгоу, что я люблю его по-прежнему. Передадите?

– Конечно, передам. А теперь проведите меня по трапу и затем прямо в мою каюту. Раз я буду на судне, я свободен!..

– А кто будет ухаживать за вами на пароходе?

– Вероятно, старший буфетчик, если деньги могут что-нибудь сделать; а по прибытии в Порт-Саид наш судовой доктор, а там дальше сам Бог позаботится обо мне.

Бесси отыскала каюту Дика, несмотря на сутолоку, царившую на пароходе от множества провожающих и плачущих родственников. Здесь Дик поцеловал ее на прощание и опустился на скамейку в ожидании, когда палубы очистятся от постороннего народа. Он, который так долго не мог привыкнуть свободно двигаться по своим комнатам в окружавшем его мраке, прекрасно ориентировался здесь, на пароходе, и необходимость самому заботиться о своих потребностях и удобствах бодрила его, как вино. Прежде чем пароход стал продвигаться между доками, он уже успел познакомиться со старшим буфетчиком, успел по-царски одарить его и заручиться его благорасположением, доставившим ему прекрасное место за столом и предоставившим ему все возможные удобства и внимательный уход во время пути. Вещи его были немедленно развязаны и разложены по местам, и он был вполне комфортабельно устроен в каюте. Здесь на пароходе он даже не имел надобности ощупью находить дорогу, так хорошо ему было знакомо все кругом. Затем Господь был так милостив к нему, что он крепко заснул сном здорового усталого человека, едва только его мысли собрались вернуться к Мэзи. Он проспал до тех пор, пока судно не вышло из устья Темзы и не стало покачиваться на волнах Ла-Манша.

Шум машины, и запах смазочного масла и свежей краски, и знакомые звуки в соседней каюте пробудили его к новой жизни.

– О, как хорошо снова ожить! – воскликнул он, позевывая и потягиваясь с особым наслаждением, и вслед за тем поднялся наверх на палубу, где ему сказали, что они уже поравнялись с Брайтонским маяком. Конечно, это еще не открытое море – как и Трафальгар-Сквер не деревня – открытое море начинается только за Уэссаном, но тем не менее Дик ощутил на себе его целительное действие.

Бурливый зеленый вал непочтительно налетел на пароход с носа и шаловливо окатил водой палубу и ряд новеньких палубных стульев; брызги полетели Дику в лицо, и он слышал, как пена звонко шлепнулась на палубу. С наслаждением втянул он в себя соленый, влажный аромат моря и затем прошел в курительную комнату. На него налетел сильный порыв ветра и сдул дорожную фуражку у него с головы, оставив его без головного убора в дверях каюты. Слуга, угадав в нем с первого взгляда привычного путешественника, заметил, что погода, вероятно, будет свежая и по выходе из канала покачает порядком, а в заливе можно, пожалуй, ожидать настоящей бури. Так и случилось, и Дик был этому весьма рад. В море все стараются за что-нибудь держаться, переходя с места на место, и не только непривычные, но и самые привычные люди делают то же; на суше же человек, пробирающийся ощупью, явно должен быть слепым. В море даже и слепой, если он не страдает морской болезнью, может подсмеиваться и подшучивать вместе с доктором над больными путешественниками и чувствовать свое превосходство над ними. Дик рассказывал доктору бесчисленные анекдоты, а это при умении лучшая монета, чем даже серебряная, курил с ним чуть не до рассвета и приобрел таким путем его недолговечное, но тем не менее искреннее расположение и даже уважение, побудившее

его обещать Дику, что по прибытии в Порт-Саид он не оставит его, а уделит ему часть своего времени.

Море то бушевало, то стихало, машина день и ночь гудела свою неизменную песню, солнце грело все сильнее и сильнее. Цирюльник Том Ласкар однажды поутру обрил Дика наголо, над палубами натянули тенты, пассажиры заметно повеселели, и, наконец, пароход пришел в Порт-Саид.

– Сведите меня к madame Бина, – сказал Дик доктору, – если вам известно, где она обретается.

– Ну вот еще, конечно, знаю! – ответил доктор. – Все они хороши, эти здешние злачные места, но я полагаю, что вам известно, что это, пожалуй, самый худший из притонов. Для начала они вас оберут и ограбят, а затем, не стесняясь, приколют или прирежут.

– Не беспокойтесь. Вы только сведите меня туда, а там уж я сам о себе позабочусь.

Так Дик попал к madame Бина и с наслаждением вдыхал памятный ему своеобразный аромат Востока, который чувствуется неизменно повсюду от Суэца до Гонконга, и слушал отвратительный левантский *lingua franca*. Солнце пекло ему спину между лопаток с бесцеремонностью старого приятеля; ноги его утопали в песке, а рукава его куртки были горячи, как свежее испеченный хлеб, когда он подносил их к своему лицу.

Madame Бина улыбнулась улыбкой человека, который ничему не удивляется, когда Дик вошел в ее питейный дом, являвшийся одним из многочисленных источников ее доходов. Если бы не мрак, окутывавший его, Дик с трудом поверил бы, что он уезжал отсюда, так все здесь было привычно и знакомо ему. Кто-то раскупорил бутылку особо крепкого Шидама, и его запах напомнил Дику господина Бина, который постоянно говорил об искусстве и о своем унижении и падении. Бина умер, как о том сообщила мадам Бина. Доктор, приведший Дика, ушел, возмущенный, насколько это возможно для судового врача, дружески теплым приемом, оказанным Дику в этом притоне; Дик был в восторге от этого приема.

– Здесь они меня еще помнят, а там за морями обо мне успели уже забыть за это время... Madame, я желал бы иметь с вами довольно продолжительный разговор, когда вы будете свободны. Как хорошо опять вернуться в знакомые места!

Вечером г-жа Бина вынесла на песок перед домом столик, и они расположились около него в то время, как в доме, позади них, стоял шум, гвалт и настоящий содом веселья, проклятий, смеха и слез. На небе зажигались звезды, и огни на судах в канале тихо мигали у пристани.

– Да, война очень способствует хорошей торговле, друг. Ну а ты что здесь делаешь? Как видишь, мы не забыли тебя... и девушки тоже помнят...

– Я уезжал в Англию и ослеп.

– Но раньше ты прославился, приобрел известность. Мы здесь тоже слышали об этом и порадовались за тебя, и я и Бина, он еще был жив. Ты использовал голову Желтой Тины, она еще жива, Тина, и твои рисунки были так похожи, что она смеялась от радости, когда приходили газеты и журналы, в которых помещены были снимки с твоих картин. В каждой из них мы здесь могли узнать что-нибудь знакомое. И мы знали, что там они доставили тебе славу и деньги.

– Я не беден и могу хорошо заплатить вам.

– Только не мне. Ты уж за все заплатил, – сказала она, понизив голос до шепота. – Mon Dieu! Ослепнуть таким молодым! Какой ужас!

Дик не мог видеть ее лица с выражением жалости и сочувствия, ни своих поседевших висков, но он и не хотел теперь жалости; он был слишком поглощен своим желанием снова попасть на передовые позиции и объяснил ей свое желание.

– Но куда же именно? – спросила она. – Канал запружен английскими судами, и временами они открывают огонь по городу, как бывало в то время, когда здесь была война, десять

лет тому назад. За Каиром тоже дерутся, но как ты проберешься туда без корреспондентского пропуска? А в пустыне, там всегда сражаются, но туда тоже не проберешься.

– Мне нужно попасть в Суаким.

Он узнал из того, что ему читал Альф, что Торпенгоу там с отрядом, охраняющим работы по сооружению Суаким-Берберийской железнодорожной линии. Madame Бина знает всех и, конечно, может указать ему людей, совет и содействие которых могли бы быть ему полезны в этом.

– Но в Суакиме всегда война! Эта пустыня беспрерывно рождает отчаянных смельчаков! Она кишит ими... Но почему непременно в Суаким?

– Мой друг там.

– Твой друг? С-ссс!.. Значит, твой друг смерть.

И madame Бина опустила на стол свою мясистую жирную руку, наполнила еще раз стакан Дика и внимательно вглядывалась в него в течение нескольких секунд при свете мерцающих звезд. Он не захотел утвердительно кивнуть головой и сказал:

– Нет, он человек, но если бы было и так, как ты сказала, то неужели ты осудила бы меня за это?

– Я, осуждать тебя? Да разве я смею? – засмеялась она как-то неестественно резко. – Да кто я такая, чтобы иметь право осуждать кого-нибудь... кроме тех, которые стараются обмануть меня или обсчитать при уплате за съеденное и выпитое у меня? Но я скажу только, что это ужасно!

– Я должен ехать в Суаким. Помогите мне. Многого переменялось с тех пор, как я отсюда уехал. Люди, которых я знал, уже не здесь теперь. Египетский лихтер ходит по каналу к Суакиму, а пакетботы тоже... Но как это сделать?

– Не думай больше об этом. Я знаю, и я все обдумываю. Пусть это будет моя забота. Ты поедешь, обещаю тебе, ты поедешь я увидишь своего друга. Но будь благодарен. Посиди здесь, покуда все в доме успокоится. Мне надо теперь присмотреть и услужить моим посетителям, а после иди и ложись спать. Ты поедешь, обещаю тебе. Ты поедешь в Суаким.

– Завтра?

– Как только будет возможно.

Она говорила с ним, точно с ребенком.

Он сидел у своего стола, прислушиваясь к голосам, доносившимся с улицы и из гавани, мысленно спрашивая себя, скоро ли конец, пока не пришла madame Бина и не уложила его в постель, приказав ему сейчас же уснуть. В доме еще долго шумели, пели, пили и плясали, и г-жа Бина расхаживала между своими гостями, наблюдая одним глазом за выручкой и прислужницами и обдумывая в то же время, как бы устроить дела Дика. Имея это в виду, она приятно улыбалась угрюмым и скрытным турецким офицерам феллахских полков, была мило-стива и ласкова с чиновниками Киприотского комиссариата и более чем любезна с агентами по поставке верблюдов и мулов для армии, какой бы национальности они ни были.

Рано поутру, одевшись соответственно случаю в ярко-пунцовое бальное платье с потемневшей золотой вышивкой на корсаже, в ожерелье из простых стекол, заменявших бриллианты, она приготовила шоколад и сама понесла его Дику.

– Это я. Не стесняйтесь, ведь я уже в почтенном возрасте, не так ли? Пейте и кушайте вволю, а я здесь посижу с вами. Так матери во Франции приносят поутру шоколад к постели своих сыновей, когда они ведут себя хорошо.

И она присела на край постели и шепнула:

– Все устроено и улажено. Ты отправишься на лихтере. Только это обойдется в десять английских фунтов; ведь правительство очень неисправно платит капитану. Через четыре дня это судно придет в Суаким. С тобою поедет Георгий, грек, погонщик мулов. Это тоже будет тебе стоить десять фунтов, без этого никак нельзя. Я уплачу и тому и другому, они не должны

знать, что у тебя есть деньги. Георгий поедет с тобой из Суакима до того пункта, куда он следует со своими мулами, а затем он вернется сюда, так как его возлюбленная здесь, в моих руках, и если я не получу от тебя телеграммы, что ты благополучно доехал, то его девчонка здесь ответит мне за него.

– Спасибо вам, – сказал Дик и сонно протянул руку за чашкой. – Право, вы даже слишком добры, madame.

– Если бы я действительно могла что-нибудь сделать для тебя, я бы сказала: оставайся здесь и будь благоразумен. Но я не думаю, чтобы это было лучше для тебя.

И она с печальной улыбкой посмотрела на свое залитое всякими напитками платье.

– Нет, ты поедешь, непременно поедешь; так будет лучше... да, так будет лучше для тебя, мой бедный мальчик.

Она наклонилась и поцеловала его между бровей.

– Это мое утреннее приветствие тебе, – сказала она, уходя. – Когда ты оденешься, мы поговорим с Георгием и приготовим все, что надо. Но сначала нам следует раскрыть твой чемоданчик, дай мне ключи.

– За последнее время количество получаемых мной поцелуев изумительно. Право, чего доброго, и Торп станет меня целовать. На него больше похоже хорошенько выругаться по моему адресу за то, что я, не говоря ни слова, свалюсь ему на голову. Ну а ведь не надолго. Послушайте, madame, помогите мне совершить мой последний туалет, ведь там уже нечего будет думать о возможности одеться как следует, там, на передовых.

Он стал перебирать свой новый походный наряд, царапая себе руки о шпоры. Есть разная манера носить походную одежду и снаряжение, но надлежащая манера носить этот наряд – это манера неутомимого, весело настроенного человека, вполне владеющего собой и собирающегося предпринять интересную экспедицию.

– Я хочу, чтобы все было в порядке и на своем месте, – сказал Дик. – Все это, конечно, перепачкается и измажется впоследствии, но теперь приятно сознавать, что ты хорошо одет. Скажите, все на мне в порядке?

Он ощупал револьвер в новенькой кобуре у пояса, наполовину скрытый складками пышной блузы, и поправил рукой воротничок.

– Лучше не придумай, – сказала madame Бина, смеясь сквозь слезы. – Взгляните на себя... ах да, я и забыла...

– Я очень доволен – все отлично. Ну а теперь пойдете повидаться с капитаном и Георгием. Скорее, madame!

– Но ты не можешь же показаться со мной днем на улице и в гавани. Представь себе, если какая-нибудь английская леди...

– Сейчас здесь нет никаких английских леди, а если бы и были, то я забыл о их существовании и знать их не хочу. Пойдемте!

Несмотря на его жгучее нетерпение, уже почти стемнело, прежде чем лихтер тронулся в путь. Madame Бина очень усердно внушала и Георгию и капитану, как им следует заботиться о благополучии Дика, и мало кто из знавших ее решился бы пренебречь ее наставлениями и советами, так как все хорошо знали, что это могло окончиться ударом ножа в бок где-нибудь в игорном притоне по самому ничтожному поводу.

В течении шести дней – двое суток маленькое судно потеряло в загроможденном судами канале – тащился лихтер до Суакима, где он должен был принять на борт начальника маяков. Дикун пришлось потратить немало красноречия на уговоры Георгия, который терзался опасениями за свою возлюбленную и был весьма склонен видеть в Дике виновника всех своих терзаний. Однако, прибыв на место, Георгий взял Дика под свое покровительство, как он обещал madame Бина, и они вместе отправились по раскаленной набережной в порт, весь заваленный материалами для постройки Суакимо-Берберийской железнодорожной линии.

– Если вы отправитесь вместе со мной, – сказал Георгий, – то никто не спросит у вас никаких паспортов или пропусков и не станет спрашивать, что вы здесь делаете. Все они страшно заняты теперь.

– Да, но я желал бы услышать и поговорить с кем-нибудь из англичан. Может быть, они вспомнят меня. Я был довольно известен здесь много лет тому назад, когда я еще был кем-то и кем-то.

– Много лет тому назад здесь значит «Бог весть когда», потому что здесь все кладбища переполнены... Вы выслушайте. Эта новая линия идет до самого Танаи-эль-Хассана, то есть на протяжении семи миль. А там есть лагерь. Говорят, что по ту сторону Танаи-эль-Хассана английские войска двигаются вперед, а все, что им требуется, будет доставляться им по этой железной дороге.

– Ага, операционная база, понимаю. Это несравненно лучше, чем драться с арабами в голой пустыне.

– Даже и мои мулы отправятся в железном поезде.

– Что такое?

– Ну да, в поезде, обшитом листами железа, потому что по поезду всегда стреляют.

– А-а, бронированный поезд, прекрасно! Продолжай, Георгий.

– И я поеду нынче ночью вместе с моими мулами, только те, кому непременно нужно попасть в лагерь, отправляются с поездом. Стрелять начинают почти у самого города.

– Знаю, знаю, они всегда так делали и раньше.

Дик с наслаждением вдыхал запах горячей пыли, раскаленного железа и потрескавшейся краски. Прежняя жизнь приветствовала его как нельзя более радушно.

– Если я соберу своих мулов, то мы сегодня же вечером и отправимся: только вы должны сперва послать телеграмму в Порт-Саид и заявить, что я не причинил вам ни малейшего зла.

– Madame хорошо держит вас всех в руках, – заметил Дик. – Признайся, ты бы пырнул меня ножом, если бы мог?

– Не могу, ведь она – там, у этой женщины.

– Понимаю. Плохо, когда приходится выбирать между любимой женщиной и грабежом. Я очень сочувствую тебе, Георгий.

Они зашли на телеграфную станцию, никто их ни о чем не спросил, потому что все были заняты своим делом настолько, что некогда было голову повернуть. Только на обратном пути голос молодого английского офицера спросил Дика, что он здесь делает. Синие очки скрывали его глаза, и, идя под руку с Георгием, он коротко ответил:

– От египетского правительства – мулы. Я имею приказание доставить их в Танаи-эль-Хассан. Предъявить вам бумагу?

– О, нет, прошу извинить. Я не стал бы вас спрашивать, но так как ваше лицо мне незнакомо... то я...

– Я рассчитываю уехать сегодня с ночным поездом, – смело продолжал Дик. – Надеюсь, не представится никаких затруднений с погрузкой мулов, не правда ли?

– Вы отсюда можете видеть конские платформы, они готовы, только вы должны заблаговременно позаботиться о погрузке... – И молодой офицер удалился, дивясь, что это за опустившийся человек, который говорит, как настоящий джентльмен, и вместе с тем якшается со всякими погонщиками мулов.

Дик почувствовал себя несчастным. Одурачить английского офицера не безделица, и этот случай напомнил, что все могло бы быть совсем иначе, чем было.

Пообедав вместе с Диком, Георгий отправился за мулами, а Дик остался сидеть один в тени под навесом, опустив голову на руки. Перед его плотно закрытыми глазами мелькало лицо Мэзи, смеющееся, с закрытыми губами. Кругом стоял шум и суета. Он испугался и чуть было не стал звать Георгия.

– Я вас спрашиваю, готовы ли для посадки ваши мулы? – раздался у него за плечом голос молодого офицера.

– Мой слуга отправился за ними. Дело в том, что у меня болят глаза, и я почти ничего не вижу.

– Скверная штука! Вам бы следовало лечь на некоторое время в госпиталь. У меня тоже было воспаление глаз, это почти так же ужасно, как быть слепым.

– Мне тоже так кажется. А когда отходит бронированный поезд?

– В шесть часов вечера. Он идет целый час эти семь миль.

– И случаются нападения?

– Да, раза три в неделю. Я являюсь начальником этого ночного поезда сегодня.

– Большой, я думаю, лагерь у Танаи?

– Порядочный. Он должен снабжать продовольствием наш отряд, сражающийся в пустыне.

– А далеко он сейчас от лагеря?

– В тридцати или сорока милях, я полагаю, в чертовски безводной местности.

– А между Танаи и нашими войсками все спокойно?

– Более или менее. Я бы не желал отправиться туда один или с какой-нибудь полуротой; но наши разведчики каким-то непонятным образом пробираются благополучно.

– Это они всегда умели.

– А разве вы уже раньше бывали здесь?

– Я участвовал в большинстве схваток, когда война эта только началась.

«Был в рядах армии и затем исключен и отрешен от должности», – мелькнула в голове офицера мысль, и он воздержался от всяких дальнейших вопросов.

– Вот и ваш человек с мулами. Как-то странно видеть...

– Что я занимаюсь поставкой мулов? – закончил Дик.

– Да, хотя я не хотел этого сказать, конечно. Простите, Бога ради, это, конечно, непростительная дерзость с моей стороны, но, судя по вашему разговору, вы человек образованный, это сразу видно.

– Да, совершенно верно.

– Я отнюдь не хотел обидеть вас, вы понимаете, но вы, мне кажется, в несколько затруднительном положении, не так ли? Я давеча застал вас таким удрученным. Вы сидели, закрыв лицо руками, и вот почему я решился заговорить с вами об этом.

– Благодарю вас. Я действительно совершенно надломлен, хуже того даже и быть не может.

– Позвольте мне, как человеку, равному вам по положению, как-нибудь выручить вас, предложить вам... конечно, займы...

– Право, вы очень добры, но денег у меня более чем достаточно... Однако вы могли бы оказать мне громадную услугу, за которую я был бы вам бесконечно благодарен. Разрешите мне ехать на артиллерийской платформе поезда. Ведь у вас есть передняя и задняя платформы, не правда ли?

– Да. Почему вы это знаете?

– Я уже не раз ездил с бронированными поездами, и я прошу вас, дайте мне увидеть или, вернее, услышать эту потеху... Я буду вам за это глубоко признателен. Я еду на собственный риск и страх, как несражающийся доброволец.

Офицер с минуту подумал и согласился.

– Хорошо, – сказал он. – Надеюсь, что меня за это никто не привлечет к ответственности.

Тем временем Георгий и кучка крикливых и суетливых добровольных помощников-любителей загоняли мулов в конские вагоны узкоколейного бронированного поезда, походившего на длинный металлический гроб. Две артиллерийские платформы, прицепленные

впереди локомотива, сплошь обшитые броней за исключением отверстий для пулеметов, на передней платформе спереди, а на задней – по обе стороны платформы. Обе эти платформы вместе представляли собою как бы одно длинное сводчатое помещение, в котором копошилось человек двадцать артиллеристов. Шутки и смех встретили Дика, влезавшего на переднюю платформу, и прежде чем явился офицер, у него уже установились самые лучшие отношения со всей командой. С появлением офицера наступили тишина и порядок, и поезд загромычал по наскоро проложенному пути.

– Эти платформы – превосходное приспособление для стрельбы по назойливым арабам, – заметил Дик со своего места в углу.

– Да, но они продолжают оставаться назойливыми и неунывающими, – сказал офицер. – Вот, начинается!

Действительно, первая пуля ударила в наружную броню платформы.

– Такие демонстрации неизбежны с ночными поездами; обыкновенно нападают на заднюю платформу, где командует младший офицер; ему и приходится отдуваться...

– Но не сегодня, – возразил Дик. – Слышите?

Целый залп выстрелов, сопровождавшихся гиком и криком, огласил тишину пустыни. Видно, сыны пустыни вздумали позабавиться, а поезд представлял для них превосходную цель.

– Не задать ли им перца? – крикнул офицер в машинное отделение локомотива, которым управлял саперный поручик.

– Стоит! Это как раз мой участок линии; они наделают мне неприятностей, если их не пугнуть порядком.

– Ладно!

Затрещала скорострельная пушка, дав разом пять выстрелов, и пустые патроны снарядов посыпались на пол. Дым застлал все помещение крытой платформы. Снаружи доносились дикие крики, вой и беспорядочные выстрелы по хвосту поезда. Дик кинулся на пол, в безумном восторге от звуков перестрелки и запаха порохового дыма.

– Бог ко мне милостив! Я никогда не думал, что мне придется вновь услышать все это. Задайте им хорошенько, ребята! – крикнул он. – Хорошенько их!

Вдруг поезд остановился, встретив какое-то препятствие; несколько человек отправились узнать, в чем дело, и вернулись, ругаясь, за ломami и лопатами. Сыны пустыни навалили на рельсы груды камней и песку. Потребовалось минут двадцать, чтобы очистить путь. Затем поезд медленно тронулся вперед, подвергаясь обстрелу и нападениям, отстреливаясь из пушек, пулеметов и останавливаясь перед неожиданными препонами в виде полувывороченных рельсов, которые приходилось ставить на место, чтобы следовать дальше. Наконец, поезд прибыл под защиту шумного лагеря у Танаи-эль-Хассана.

– Ну, теперь вы видели, почему поезд идет полтора часа эти несчастные семь миль, – сказал офицер, отстегивая свой патронташ.

– А все же было весело! Я был бы рад, если б это продолжалось еще столько же времени. Как красиво, должно быть, смотреть на это со стороны! – сказал Дик со вздохом сожаления.

– После первых двух-трех ночей это надоедает. Кстати, когда вы управитесь с вашими мулами, заходите ко мне в мою палатку, мы посмотрим, не найдется ли чем закусить. Я служу в артиллерии, моя фамилия Бенниль. Только смотрите, не споткнитесь о веревки моей палатки впотьмах.

Но для Дика всегда и всюду была тьма. Он только чувствовал запах верблюдов, тюков сена, запах готовящейся пищи и дым костров, да еще запах просмоленного холста палаток. Он стоял на том самом месте, где сошел с бронированного поезда, и звал Георгия, который выгружал мулов.

Паровоз выпускал свои пары чуть не прямо в лицо Дик и пронзительно свистел под самым его ухом. Холодный ветер пустыни дул по его ногам. Он был голоден и чувствовал

себя усталым и разбитым и до того испачканным, что принялся рукой отряхивать одежду. Но это было совершенно бесполезно, и, засунув руки в карманы, он стал припоминать, сколько раз ему приходилось дожидаться в разных глухих закоулках земного шара поезда, верблюдов, мулов или лошадей, которые должны были его доставить к месту его деятельности. Тогда он видел, видел лучше, чем всякий другой, и вооруженный лагерь, где варилась пища и дымились котлы, под звездным небом являвшиеся всегда новым и отрадным зрелищем для глаза. Тут были краски, свет, оживление и движение, без которых нет радости в жизни. В эту ночь ему предстояло еще одно странствие во мраке, который никогда не рассеивался перед ним, и тогда он скажет, какое дальнейшее путешествие он предпринял, и снова пожмет руку Торпенгоу, Торпенгоу, который был полон жизни и сил и жил среди той кипучей, деятельной жизни, которая некогда создала славу человека, называвшегося Диком Гельдаром, которого отнюдь не следует путать со слепым, бездомным бродягой, носящим то же имя. Да, он разыщет Торпенгоу и соприкоснется еще раз как можно ближе с той старой, прежней жизнью, а затем он забудет все: и Бесси, которая уничтожила его «Меланхолию» и чуть было не искалечила его жизнь, и Битона, который жил среди жестянок, газовых трубок и всякой никому не нужной дряни, и то странное существо, которое предлагало ему и любовь и преданность безвозмездно, не требуя ничего взамен, и не подписало своего имени под этим великодушным предложением, а главное – Мэзи, которая, со своей точки зрения, была безусловно права во всех своих поступках, но... на таком расстоянии была так мучительно прекрасна.

Прикосновение руки Георгия к его руке заставило Дика вернуться к действительности.

– Ну, что теперь? – спросил грек.

– Да, конечно... Теперь проводи меня к верблюдам; туда, где сидят разведчики. Они сидят подле своих верблюдов, что едят зерно с черного полотнища, которое люди держат за четыре конца; и люди едят тут же, совершенно так же, как их верблюды... Проводи меня к ним.

Лагерь был неблагоустроен. Дик не раз спотыкался о колья и бугры и всякие отбросы. Разведчики сидели подле своих животных, как это хорошо знал Дик. Пламя костров освещало их бородатые лица, а верблюды фыркали и урчали, жуя зерно и как бы переговариваясь между собой. Дик не хотел отправиться в пустыню с караваном припасов; это привело бы к бесконечным расспросам, а так как в слепом штатском человеке не было никакой надобности на передовых позициях, то его, вероятно, заставили бы вернуться в Суаким. Он должен был отправиться один, и отправиться немедленно.

«Теперь еще одна последняя шутка, самая многозначительная из всех!» – подумал он, подходя к костру.

– Мир вам, братья! – промолвил он, когда Георгий подвел его к ближайшей группе разведчиков, расположившейся вокруг костра.

Шейхи медленно и с важностью наклонили головы в знак ответного приветствия, а верблюды, почуяв европейца, насторожились и готовы были, казалось, подняться на ноги.

– Верблюда и погонщика, чтобы немедленно отправиться на передовую линию, – сказал Дик.

– Муланда? – сердито спросил чей-то голос, называя лучшую породу вьючных верблюдов.

– Нет, не муланда, а бишарина, – возразил Дик спокойно и уверенно, – бишарина, без седельных ссадин на спине.

Прошло две-три минуты в молчании.

– Мы здесь расположились на всю ночь; сегодня не тронемся из лагеря.

– А за деньги?

– Хм-хм?... За английские деньги?

И опять продолжительное молчание.

– Сколько?

– Двадцать пять английских фунтов погонщику по окончании пути и еще столько же сейчас шейху, с тем чтобы он отдал их погонщику.

Это была царская плата, и шейх, хорошо знавший, что при расчете получит свои комиссионные с врученной ему суммы, стал склоняться на сторону Дика.

– Меньше одной ночи пути и пятьдесят фунтов... Да на эти деньги человек может приобрести и землю, и колодцы, и прекрасные деревья, и жен, словом, всякое благополучие до конца дней своих. Кто согласен? – спросил Дик.

– Я, – отозвался чей-то голос. – Я поеду. Только ведь сегодня из лагеря никого не выпустят...

– Глупый! Разве я не знаю, что верблюд всегда может порвать свои путы, сорваться с привязи и уйти в пустыню, и часовые не стреляют по животным, за которыми гонятся... Ведь двадцать пять фунтов да еще другие двадцать пять фунтов не шутка. Но животное должно быть чистокровным бишарином; вьючного я не возьму...

После этого начался торг, и в конце концов первые двадцать пять фунтов были вручены шейху, который стал о чем-то вполголоса говорить с погонщиком.

– Совсем недалеко... Любой вьючный довезет... Стану я лучшего верблюда тревожить ради слепого! – расслышал Дик слова последнего.

– Хотя я и не вижу, – сказал он, несколько повышая голос, – но у меня есть при себе вещица, у которой шесть глаз, а погонщик будет сидеть на переднем сиденье, и если мы на рассвете не будем в действующем отряде английских войск, то он умрет.

– Но где искать этот действующий отряд?

– Если ты этого не знаешь, так вместо тебя поедет другой, Знаешь ты или нет? Отвечай! И помни – это жизнь или смерть для тебя.

– Знаю, – угрюмо ответил погонщик. – Отойди в сторону от моего верблюда, я его сейчас подыму.

– Не торопись. Георгий, поддержи голову этого животного, я нащупаю его щеки!.. Да, вот клеймо! – полукруг, отличительная метка бишарина, легкого верхового верблюда... Хорошо, отвязывай этого. Помни, благословение Всевышнего не снизойдет на того, кто старается обмануть слепца.

Люди, сидевшие у костра, засмеялись, видя разочарование погонщика. Он надеялся подсунуть ленивое вьючное животное со сбитой седлом спиной, и это ему не удалось.

– Посторонись! – крикнул кто-то, хлестнув верблюда ремнем под брюхо. – Дик проворно отскочил, почувствовав, что привязь в его руке натянулась.

В тот же момент поднялся крик: «Иллага! Ахо!.. Сорвался!..»

Бишарин с глухим ревом вскочил и стрелой помчался в пустыню. Погонщик с криком и проклятиями кинулся за ним. Георгий схватил Дика за руку, и тот, спотыкаясь и торопясь, пробежал мимо часового, привыкшего к подобным сценам.

– Куда вас черт несет? – крикнул он им вслед.

– Все мое добро в этом проклятом животном! – крикнул ему ответ Дик простонародным языком.

– Ну, лови его, да смотри, чтобы и тебе и твоему дромадеру не перерезали глотку.

Крики погонщика затихли, когда верблюд скрылся за ближайшим пригорком. Погонщик остановил его и заставил опуститься на колени.

– Садись впереди, – сказал ему Дик, взбираясь вслед за ним на заднее седло, и, тихонько постукивая дулом револьвера по спине погонщика, он добавил: – Ну, ступай с Богом, живее! Прощай, Георгий, привет от меня госпоже Бина, и будь счастлив со своей милой... Ну, вперед!

Спустя немного времени его охватила торжественная тишина ночи, едва нарушаемая легким поскрипыванием седла и мягкой поступью неутомимых ног дромадера. Дик поудобнее

уселся в седле, подтянув потуже свой пояс, и в течение часа ощущал на своем лице встречное движение воздуха, свидетельствовавшее о быстром ходе животного.

– Хороший верблюд! – сказал он наконец.

– Он никогда не оставался ненакормленным. Он у меня домашний!.. – ответил погонщик.

– В добрый час! Вперед!

И голова Дика вскоре склонилась на грудь. Он хотел думать, но мысли его сбивались и путались, потому что его сильно клонило ко сну. И в полудреме ему казалось, что он в наказание учит наизусть гимн, как бывало у миссис Дженнет. Он будто бы провинился, нарушив святость воскресного дня, и она за это заперла его в спальне и заставила учить гимн. Но он никак не мог вспомнить ничего, кроме двух первых строк.

Когда народ, избранный Богом,
Страну изгнанья покидал... —

твердил он без конца сонным голосом. Погонщик обернулся, чтобы убедиться, нельзя ли завладеть револьвером и окончить поездку. Но Дик проснулся, ударил его рукояткой по голове и стряхнул с себя сон. Кто-то притаившийся в кустах верблюжьих колючек что-то крикнул, и затем раздался выстрел, и снова воцарилась тишина, и его опять стал одолевать сон. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и только время от времени клевал носом и пробуждался на мгновение, чтобы толкнуть дулом револьвера погонщика.

– Светит месяц? – спросил он сквозь сон.

– Уж он заходит, – ответил погонщик.

– Хотел бы я посмотреть на него. Придержи верблюда, я хочу слышать голос пустыни.

Погонщик исполнил его желание; среди тишины поднялся легкий предрассветный ветерок и своим дыханием разбудил засохшие листья какого-то чахлого кустарника и замер.

– Вперед! – скомандовал Дик. – Ночь сегодня холодная.

Всякий знает, что предрассветные часы кажутся всегда особенно долгими и холодными. Дик эта ночь казалась бесконечно длинной. Но вот погонщик что-то пробурчал, и Дик вдруг ощутил перемену в воздухе.

– Никак светает, – сказал он.

– Да, а вот и лагерь. Хорошо доехали?

Верблюд вытянул шею и заревел, почуяв близость других верблюдов в английском отряде.

– Скорее, скорее! – торопил Дик.

– Там что-то беспокойно, – сказал погонщик, – только из-за пыли разобрать нельзя, что они делают.

– Спешь вперед, а там узнаем.

Теперь уже доносился шум голосов, и крики животных, и гомон пробуждающегося военного лагеря.

Раздались два-три выстрела.

– Это они по нас стреляют? Неужели же они не видят, что я англичанин? – раздраженно и с досадой в голосе проговорил Дик.

– Это из пустыни, – ответил погонщик, пригнувшись к самому седлу.

– Вперед, сын мой! – крикнул Дик. – Хорошо, что утро не застигло нас часом раньше, а то бы нам несдобровать.

Верблюд мчался прямо к отряду, а выстрелы позади учащались. Как видно, сыны пустыни собирались напасть на английский лагерь.

– Какое счастье! Какая поразительная удача!.. Как раз перед началом битвы!.. О, Боже, наконец-то Ты сжалился надо мной! Только... – и мучительная мысль заставила его зажмурить на мгновение глаза, – Мэзи...

– Хвала и благодарение Аллаху! Мы в лагере, – проговорил погонщик в тот момент, когда они въехали в арьергард, и верблюд опустил на колени.

– Кой черт! Кто вы такой? Деша, что ли? Каковы силы неприятеля? Как вы доехали? – послышались десятки вопросов. – Но вместо ответа Дик собрался с духом, отпустил свой пояс и, не сходя с седла, крикнул усталым, несколько сиплым голосом:

– Торпенгоу! Эй, Торп, эй!.. Торпенгоу!

Бородатый мужчина, рывшийся в золе костра, отыскивая горячий уголек, чтобы раскурить трубку, живо обернулся и быстро направился на голос в тот момент, когда арьергард выстроился и открыл огонь по неприятелю, скрывавшемуся за холмами тут и там. Дым выстрелов висел в неподвижном предрассветном воздухе, окутывая все кругом непроницаемой пеленой.

Солдаты закашлялись и ругались, видя, что дым от их собственных выстрелов мешает им разглядеть неприятеля, и подались вперед, стараясь оставить за собой эту завесу. Раненый верблюд вскочил было на ноги и заревел громко и протяжно... Кто-то прикончил его, чтобы избежать замешательства и переполоха. Затем послышался глухой стон человека, раненного насмерть пулей, а там крик острой боли и ужаса, и снова выстрел.

Не время было для расспросов.

– Слезай, дружище! – крикнул Торпенгоу, подбегая. – Живее!.. Слезай и ложись за верблюда.

– Нет, прошу тебя, проведи меня в передние ряды битвы, – сказал Дик, обернувшись лицом к Торпенгоу и подняв руку, чтобы поправить на голове свой шлем, но, не рассчитав движения, только сбил его совсем с головы. Торпенгоу увидел седину в его волосах и заметил, что лицо его было лицом старика.

– Да слезай же, Дик! Говорят тебе, слезай скорее, безумный! – крикнул Торпенгоу.

И Дик послушно слез с седла, но, подобно тому, как падает срубленное дерево, покачивавшись в сторону, он упал прямо к ногам Торпенгоу.

Счастье его не изменило ему до конца; сострадательная пуля сжалась над ним и пробила ему голову.

Торпенгоу опустил на колени под прикрытием верблюда, поддерживая тело своего друга Дика.